

**Аполлон ДАВИДСОН**

**Я ВАС ЛЮБЛЮ**

**Страницы жизни**

Эта книга — о людях, которых встречал, знал и успел полюбить автор. Герои повествования — и те, кто достиг славы, стал всемирно известным (Ахматова, Гумилев), но чаще — те, кто был богато одарен от природы, но в силу ряда исторических и жизненных обстоятельств не смог полностью реализовать свой талант. Многие из них ушли либо незамеченными, либо недооцененными. Это и ученые — основатели российской африканистики, и писатели, и политики. Книга щедро населена интереснейшими людьми и автор рассказывает о них тепло и задушевно — так, как говорят о близких друзьях.

*Лучшее, что дала мне жизнь – это друзья.*

*Тем, кто и сейчас дарит мне свое душевное тепло,  
и тем, кого, увы, уже нет...*

**Я не знаю, зачем и кому это нужно...**

*А я ищу слова нескладные  
О том, что было и прошло.*

*Окуджава*

*Одно я берегу – простую память.  
Эренбург*

Один из моих старых – и старших - друзей, оказавшись в лагерях ГУЛАГа, решил делать заметки – для памяти. Нашел время и место! Ничего, конечно, не написал. Лишь вывел на обрывке бумаги: "Memoires". При очередном шмоне охранник, увидев это, решил блеснуть эрудицией:

- Что, хочешь у нас здесь мемойрес сочинять?

Потом, выйдя из мест заключения, мой друг говорил:

- Так что вот, благословила меня вохра. Буду мемойрес сочинять.

Я спросил его, а для кого он собирался писать. Это его озадачило, наверно, не задумывался. И ответил мне словами Вертинского: - Я не знаю, зачем и кому это нужно.

Потом, через много лет, воспоминания он написал. Но не назвал их "Мемойрес", и даже эпизода того не упомянул – должно быть, забыл.

А я запомнил. И начав эту книгу, так и хотел ее назвать: "Мемойрес". Но не решился. Друга того давно нет, и разрешения спросить не у кого...

Зачем я читателю навязываю свои "мемойрес"?

...Ты идешь по жизни и, кажется, что рядом с тобой люди, которые помнят то, что помнишь ты. Ведь все это было так недавно!

Но в какой-то момент вдруг ощущаешь, что вокруг тебя поредело. И то, что помнишь ты, помнят лишь немногие. И все, что тебе казалось таким ясным и очевидным, для других

совсем не так ясно и вовсе не очевидно.

И нет уже свидетелей событий,  
И не с кем плакать, не с кем вспоминать.

Эти слова Ахматова написала, когда ей не было и шестидесяти.

Василий Иванович Качалов жаловался Исае Берлину еще в 1946-м, что артисты МХАТа уже не понимают чеховских характеров.<sup>i</sup> А ведь МХАТ считался (да и сейчас считается) носителем чеховских традиций. Но, должно быть, было у Качалова какое-то основание так сказать.

В 1946-м мне было семнадцать. И мне казалось тогда, что самая загадочная, самая непонятная – Россия чеховская и послечеховская. Россия перед 1917-м. Что мы о ней знали? Ленин, большевики. Все остальное – через призму их взглядов и суждений, отбор фактов и событий.

Со второй половины восьмидесятых появились, наконец, самые разные воспоминания о тех временах. Открылся доступ и к эмигрантской литературе. Постепенно ощущение тайны, запрета – ушло.

И теперь, я думаю, самый закрытый, непонятный период для новых поколений – это сталинский и послесталинский Советский Союз. Отклик на недавние воспоминания историка Р.Ш. Ганелина, моего старого друга, Мариэтта Чудакова начала так: «Советская Атлантида с огромной скоростью - неестественной, казалось бы, для ее безмерных пространств и долголетия, - погружается на дно, покрываясь океанической толщей забвения».<sup>ii</sup>

Очевидцев смел с лица земли Большой террор. Тех, кто остался, – война. Тех, кто пережил и ее, заставлял молчать шквал репрессий послевоенных лет. Самоцензура - неотъемлемая часть нашего существования. Десятилетиями люди боялись откровенничать – и в дневниках, и в письмах, и в разговорах. Александр Блок писал: "Мы дети страшных лет России". Владимир Высоцкий отзывался: "Мы тоже дети страшных лет России".

Но, скажете вы, разве мало мемуаров появилось с тех пор?

Быть может, немало, да разве достаточно, чтобы понять, прочувствовать жизнь людей тех времен.

... Тот век прошел, и люди те ушли...

Не все. Вот я и набрался дерзости – решил добавить свою толику в общую копилку.

Я знал много интересных людей, и неизвестных, и достигших славы. Ученых, писателей, политиков. И наших, и зарубежных.

Скажу прежде всего о тех, кто ушел, так и не сумев проявить свой талант. Ушел незамеченным, либо несправедливо мало оцененным. Помните, у Смелякова -

Я не о тех золотоглавых  
певцах отеческой земли,  
что пили всласть из чаши славы  
и в антологии вошли.

Всех бедных братьев, что к потомкам  
не проложили торный путь,  
считаю долгом пусть негромко,  
но благодарно помянуть.

Не хочется соглашаться с Пушкиным: «замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны». Но что-то в его словах, наверно, есть.

Ярких людей мне действительно встречалось немало - буквально с рождения. Родился я в ссылке, в сибирской таежной деревне, и мама говорила мне потом, что никогда в жизни не встречала так много интересных людей, как там, в тех деревнях, где жили ссыльные.

Позднее я видел гибель старой петербургской интеллигенции. Тридцать седьмой, блокада, лысенковский разгром генетики, борьба против "безродных космополитов" и "низкопоклонства перед Западом", "ленинградское дело", "процесс врачей"...

Когда судьба по следу шла за нами,  
Как сумасшедший с бритвою в руке.

С горечью думаю, скольких бы людей еще мог повидать, послушать - тех старых петербуржцев, которые прошли всё и выжили! Но поздно! По молодости кажется – все впереди. Еще успеется... Но все дела да случаи... Как писал Александр Кушнер:

На Мойке жил один старик.  
Я представляю горы книг.  
Он знал того, он знал другого.  
Но все равно, не потому  
Приятель звал меня к нему  
Меж делом, бегло, бестолково.

А потому, что, по словам  
Приятеля, обоим нам

Была бы в радость встреча эта.  
- Вы б столкнувались в тот же миг:  
Одна печаль, один язык  
И тень забытого поэта!

Я собирался много раз,  
Но дождь, дела и поздний час,  
Я мрачен, он нерасположен.  
И вот я слышу: умер он.  
Визит мой точно отменен.  
И кто мне скажет, что отложен?

Но о тех, кого повидал, попытаюсь рассказать. О встречах с людьми, которые помогли мне что-то понять в жизни. Ведь и теперь, когда мы переполнены информацией: телевизор, радио, газеты, интернет - все равно прав Высоцкий:

Мы многое из книжек узнаем,  
Но истины передают изустно.

\* \* \*

Трудно братья за воспоминания. Часто пишут, чтобы оправдать себя, свести с кем-то счеты. Еще чаще – погрузиться, пожаловаться. Жаловаться каждому из нас есть на что. Даже Грета Гарбо, секс-символ, считала, что ее жизнь не удалась, и добавила - как и вообще у всех жителей Земли.

В детстве я читал воспоминания другой известной актрисы. Начала она примерно так: сколько я ни видела мемуаров, они не были вполне откровенны - даже исповеди Руссо и Толстого, - тем более не встречала откровенных воспоминаний, написанных женщиной, вот и хочу быть первой. И, действительно, старалась писать искренне. Призналась даже, как не раз пыталась соблазнить известного режиссера, и как ей это не удавалось... А в заключение повинилась: не смогла описать всё, как было. И не потому, что не хотела. Хотела! А просто не могла уже восстановить в памяти давно ушедшие впечатления, увидеть мир своими тогдашними глазами.

Для меня главное в воспоминаниях – вспомнить об ушедших. Высоцкий пел с отчаянием о тех, кто несправедливо забыт:

Жжет нас память и мучает совесть,  
у кого она есть.

Так ли, эдак, мы - их продолжатели. Будь они живы, наверное, напомнили бы нам библейскую мудрость: "это было уже в веках, бывших прежде нас". Или по-другому:

И кораблям, что следуют за нами.  
Придется драться с теми же волнами,  
И скрежетать от той же самой боли  
О те же скалы ребра ободрав.

Конечно, и скалы уже не совсем те. И волны – тоже. Да боль-то – она такая же.

\* \* \*

Пытаюсь поговорить о том, что видел за свою жизнь. И свой опыт – ведь только через него мы и видим окружающее.

Стоит ли вспоминать, как тебе наступали на хвост, как трудно было его вытаскивать, и как долго он потом болел. Горя-то было много. Но «я, конечно, оптимист, потому что какой смысл быть кем-то другим», - сказал один из великих. Мне ближе образ из "Алисы в стране чудес". Там пожилой человек пытается встать вверх ногами. Молодой беспокоится: - Не повредит ли это Вашей голове? Старик успокаивает: - Когда я был помоложе, я этого и боялся, а теперь думаю, ей уже ничто не повредит.

В любые времена, у каждого из нас была и радость и теплота друзей. Не будь друзей, не было бы этой книги, да и ее автора.

## Ленинград - до войны и в осаде

*Родным, умершим от голода*

В декабре 1994-го в "Известиях" я увидел большую, почти на весь газетный лист, статью с длинным названием: «"Похоронное дело" в блокадном Ленинграде. О секретном докладе, который был сделан более полувека назад и стал известен только в наши дни». Статья искренняя, с горечью и болью.

Удивило меня такое место: «По мере возрастания бомбардировок растет и количество захоронений умерших пока еще не от голода: июль 1941 г. - 3688 захоронений, август - 5090...».

Но ни в июле, ни в августе Ленинград не бомбили. Первая бомба - в сентябре. Это знали все ленинградцы. Ведь от первых бомбежек сгорели продовольственные Бадаевские склады. С этих дней и возник страх голода.

Как это можно забыть! Но автор статьи, видимо, не помнил. Хотя и написал о себе: «участник обороны Ленинграда».

Вот это меня и поразило. Значит, то, что помнишь ты, такое, казалось бы, очевидное, уже забывается даже очевидцами. Поневоле вспомнишь Тютчева: «Былое – было ли когда?».

Да и очевидцев - сколько их осталось...? В этой же статье опубликована, может быть, впервые, державшаяся в строгом секрете статистика. Оказывается, по записям кладбищ Ленинграда, даже по неполным данным, с 1 июля 1941-го по 1 июля 1942-го захоронено больше миллиона (1 миллион 93 тысячи 695 человек). Только за год! Конечно, он был самым страшным, особенно зима 1941-42-го. Но ведь сюда надо приплюсовать и тех, кто умер по пути в эвакуацию. Уезжали ведь полуживые люди. Наша семья эвакуировалась 25 марта 1942-го. Нас было четверо взрослых и четверо детей. Из взрослых доехали только двое.

В этой статье приведены слова Ю.И. Колосова – директора Музея обороны Ленинграда и председателя Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград:

- А довоенный Ленинград, о котором вы говорите, петербуржцы еще, - те все погибли... И добавил: - Городу отвели роль Матросова.

Почему? Действительно нельзя было спасти его жителей?

Старая питерская интеллигенция в блокаду понесла особенно большой урон. Наверно, бóльший, чем другие слои населения. К тому времени она уже была измучена бесконечными преследованиями. После одного только убийства Кирова в ссылку отправили десятки тысяч. Они и говорили о себе с грустной иронией: “убийцы Кирова”.

В блокаду интеллигенция оказалась самой неприспособленной. То, что она умела, не помогало выжить. А то, что помогало, она не умела. Не умела делать печки-“буржуйки”. Наоборот, - платила за них. Платили из своего голодного пайка даже те, кто был уже обречен. И деваться некуда – морозы стояли до 25-30; окна во многих домах выбиты взрывными волнами бомб и наспех залатаны фанерой или картоном. Не умели делать гробы. А это, как и буржуйки, было доходным делом.

Выживали продавцы магазинов, работники тех немногих столовых, которые еще сохранились для привилегированной публики. Дворники – дрова, заделка стекол, буржуйки. Ну и, конечно, номенклатура. Рассказывали о роскошных обедах у Жданова в Смольном. А интеллигенция - “служащие” - получала по карточкам меньше, чем “рабочие”.

Отношение властей к интеллигенции? Сталин говорил: “враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики”.<sup>iii</sup> Эти оскорбительные слова, сказанные в начале ноября 1941-го, очень запомнились ленинградцам. Еще и потому, что как раз те дни, годовщину октябрьского переворота, немцы отметили самыми лютыми бомбежками. 5 и 6 ноября стекла вылетели и в нашей комнате, а многие добрые знакомые остались вообще без крова.

Я жил тогда среди взрослых - мои школьные друзья уехали, эвакуировались летом 41-го. Конечно, я многого мог не понимать - мне шел тринадцатый год. Но, думаю, видел и понимал не так уж и мало. Перед лицом смерти - а ее призрак маячил перед каждым из нас - люди становились открытыми. Лгать-то и притворяться – зачем?

Но начну с первых, детских, довоенных воспоминаний.

### Африканский слон на Гороховой

Большой слон в витрине булочной. Он заполнял собой всю витрину. Хотя заполнить ее чем-то другим было трудно. Ассортимент уж куда как скудный, да и тот – только по карточкам. Год от Рождества Христова – 1934-й.

Слон – красавец. Большой, белый. Сразу видно – остаток прежней роскоши. Когда

Гороховая еще не называлась, как в моем детстве, улицей Дзержинского, пересекающая ее Садовая – улицей 3-го июля, а почти параллельный Гороховой Невский – Проспектом 25 октября. Слова "Гороховая" и "Дзержинского" произносились как-то по-особенному. Не потому, что в дальнем ее конце еще не так давно жил "старец" Григорий Распутин, и к нему стояли очереди просителей – это уже подзабылось. Но в самом начале улицы обосновалась петроградская ЧК с ее, как тогда уверяли, подвалами и застенками.

Обо всем этом я тогда, конечно, слышал. Но до сознания не доходило: шел мне шестой год.

На ту витрину я всегда заглядывался. Не на кондитерские изделия – понимал уже, что это не для меня. Слова "только по карточкам" вполне усвоил. Но слон – завораживал. Даже то, что белый – не как в цирке – и это нравилось.

Мама давала мне вдоволь налюбоваться. Но потом тянула за руку – пора идти.

Мы пересекали Садовую и шли к ее друзьям. Они жили как раз на полдороге между тем № 64, где жил Распутин, и № 2-4, где буквально через год после смерти Распутина возникла зловещая ЧК. Разговоры с ее друзьями велись сугубо взрослые. Главное – какие новые кары падут на ленинградцев из-за убийства Кирова. Мама боялась за себя, да и за меня – мой отец и так уже в ссылке, и давно. И семье ее друзей есть чего бояться. Они – из потомственных дворян. А после убийства Кирова за дворян взялись снова, в какой уж раз. Так что было о чем задуматься и поговорить.

Но, слово за слово, разговор заходил в тупик: ни от мамы, ни от ее друзей ничего не зависит.

И тогда вспоминали обо мне. Наверно, это была для них возможность отвлечься от того, что все равно изменить не в силах.

И слон становился отправной точкой. Слон – дикая природа – жаркие страны – Африка. Старший в семье, врач Леонид Николаевич Григорьев, был в эскадре Рожественского. Проплыл вокруг Африки. Два с половиной месяца провел на Мадагаскаре, когда Николай II все не решался: вернуть эскадру или послать дальше – как оказалось потом, на гибель в Цусимском бою. Леонид Николаевич уцелел, хотя и побывал в японском плену.

Он говорил, что слон – скорее всего, не индийский, а африканский. Подробно объяснял – как и почему. Когда он рассказывал об Африке, о своих впечатлениях – это

увлекало всех, заставляло на час-два забыть о тревогах, от которых только что мрачнели их лица.

Вот тогда я впервые услышал об Африке. Не с того ли слона родился мой интерес к ней?

Может быть. Но он бы угас без подпитки. А что это могло быть? Лимпопо – у Корнея Чуковского. Доктор Айболит. Негритенок в картине "Цирк".

О том, чтобы повидать Африку снова, Леониду Николаевичу и в голову не приходило. Он ушел из жизни, когда ему было под восемьдесят, сестра его жены – в 92 года, его сын – в 67. Но ни один из них в советское время не смог повидать другие страны. Что уж говорить о моей семье. Ни отец, ни мать, ни ближайшие родственники – вообще никогда не были за пределами СССР. Из дальних краев знали только сибирскую тайгу. Отец провел там в ссылке два десятилетия.

Так что о Сибири я слышал куда больше, чем об Африке. С Сибирью и были у меня связаны представления о далеких краях. И детское воображение привлекала экзотика непривычных мест в тутошней, российской жизни.

#### Тайга, чалдоны, деревня Ермаково

Первыми впечатлениями для меня были рассказы мамы о сибирской тайге. Я четко знал, что она связана с моей жизнью. Что я родился там, в деревне Ермаково. Друзья семьи звали меня "таежный мальчик". Мама любила рассказывать о тех краях. Сами названия звучали необычно: Тавда, Ивдель, Таборы, Туринск... Жители деревень тоже называли себя странно: чалдоны. Охотились в бескрайних лесах. Промышляли пушниной. Медведи, волки, лисицы. На охоту шли с собаками. Собак обычно не кормили: пусть сами находят еду. А когда мама их подкармливала, посмеивались: - Все равно собаки нас будут любить больше, мы же на охоту вместе ходим.

Таежная природа маму заворожала. Рассказывала с восторгом. Но еще больше – о людях, которые ее окружали. О ссыльных, как говорили тогда, "из бывших" или "недобитых". Чудом уцелевшие дворяне, офицеры, профессура, чиновники. Промышленники и купцы, которые поверили НЭПу и включились в подъем экономики, разоренной в Гражданскую. Люди разных национальностей, из самых разных мест. Когда мать решила меня там крестить – конечно, тайно, - то крестным стал у меня грузин

Кикнадзе. Ссылные называли его, кто всерьез, кто в шутку, князем. Да и мать, хотя относилась к нему по-дружески и с уважением, все-таки подтрунивала: - Ну, у Вас там на Кавказе, все – князя.

Ссылка - не ГУЛАГ. Не колючая проволока. Но – полная неопределенность. Через суд никто не проходил – у всех административная ссылка. И было непонятно, во что она выльется, сколько лет еще дадут, куда еще отправят. Да и до ссылки их порядком помучили. Порой загоняли 20-30 человек в маленькое помещение, чтобы они могли только стоять, тесно прижатые друг другу. И так - до полного их изнеможения. А потом говорили: - Вот если такой-то признается, мы двери откроем. Легко представить, какая злоба у остальных выплескивалась на него – словесно, а то и физически. Бывал в таких ситуациях и мой отец. Мама (они еще не были мужем и женой) поехала за ним в ссылку разделить его судьбу. Ссылные называли ее декабристской.

Когда мать и отец рассказывали о той жизни, я был слишком мал, чтобы по-настоящему понимать. А потом война и ленинградская блокада так отодвинули те дальние события, что больше о них уже и не вспоминали. Отца я вообще видел мало – с мамой они в январе 1938-го разошлись, потом его отправили в новую ссылку. Мне в довоенные времена из их рассказов запомнилось только забавное и смешное – то, что мальчику моих лет только и могло понравиться.

Конечно, веселья в той жизни было мало. Ссылка есть ссылка. Но мама повторяла, что никогда, ни раньше, ни позже, не встречала так много интересных людей, собранных вместе. И этим скрашивалась повседневная тревожность.

Неподалеку, в группе соседних деревень, оказались иные ссылные. Меньшевики, большевики-"уклонисты" – правые, левые. Они считали себя революционерами, и с "бывшими" у них было мало контактов. Тогда, в конце двадцатых, им создавались лучшие условия.

Впрочем, тогда жизнь у всех ссылных была еще не такой тяжелой, как в тридцатых. Не голодали. Страна жила еще остатками НЭПа. Мама сравнивала частушки того времени с теми, что пели несколькими годами позже, в разгар коллективизации. Местные бабы распевали под гармошку:

Ты ня стой на мосту,  
Не маши картузом,  
Все равно гулять не буду

С таким толстопузым.

А всего лишь через несколько лет о толстопузых речи уже не было. И частушки стали трагическими. В одной пели, что пришел, мол, приказ, чтобы каждый крестьянин, ходя «по нужде», сдавал килограмм «удобрений» -

Но как же делать килограмм,  
Когда дают по двести грамм.

Или о бегстве молодых парней в города, от нищеты в деревне –

Из Москвы пришла печать  
Девку с девкою венчать.

Из маминых рассказов я воспринимал тогда только то, что касалось тайги, дикой природы, охоты. Романтику дальних краев. Полубил потом фильм "Тайга золотая". Смотрел его несколько раз.

Накануне

Довоенный Ленинград помнится мне как самый культурный город из тех, где я бывал.

Конечно, он был не таким, как в "царское время". Сотни тысяч людей, в основном из обеспеченных и образованных слоев, покинули страну. Кем это замещалось? Наплывом новых людей из других областей. Разруха, голод в Поволжье, на Украине, да и не только там – вот народ и ринулся в Петроград-Ленинград.

Люди надеялись, что уж Москву-то и Ленинград власть не оставит: провинция можетдохнуть от голода, но эти-то города снабжаться будут.

Потоки переселенцев разрастались: крестьяне, спасаясь от раскулачивания и коллективизации, рвались в город. А сталинская кампания ускоренной индустриализации давала им рабочие места. А если не удавалось сразу устроиться на работу, у женщин был и такой путь: пойти домработницей в какую-нибудь ленинградскую семью, подождать, пока найдется место на производстве. В моем детстве у нас перебивали, одна за другой, четыре или пять таких домработниц. Должно быть, они не требовали большой зарплаты – иначе бы наш скудный семейный бюджет не выдержал. Главное для них было – получить временную прописку, осмотреться и закрепиться в городе.

Были и другие приезжие. В 1915-1916 годах евреев гнали из их привычных мест вглубь России. Германская война проходила как раз в областях "черты оседлости". В 1915-м русская армия терпела тяжелые поражения, надо было найти козлов отпущения. И евреев

обвинили, что они сочувствуют или даже помогают немцам. Обвинили не только их, а и поляков и литовцев. Но досталось больше всего евреям. Их заставили покидать насиженные места, давали иногда лишь два-три часа на сборы. И с 1916-го сотни тысяч выселенных оказались бездомными. Где жить, как?

Это было первое такое массовое в истории нашей страны насильственное переселение по национальному признаку – за четверть века до переселения немцев Поволжья, а затем народов Кавказа и Крыма.

Один из первых декретов Временного правительства – 2 апреля (20 марта по старому стилю): "Об отмене вероисповедных и национальных ограничений" давал евреям право, которого у них в России никогда не было: селиться где хотят. Немалый поток пришелся и на Ленинград.

Казалось бы, лицо города должно было от всего этого резко измениться. Так и произошло. Но, поразительно, отпечаток интеллигентности вмиг не исчез. И вежливость и уважительность в отношениях долго оставались отличительной чертой города.

Сейчас снова стекается народ в Петербург и в Москву: с Кавказа, из Средней Азии, из Украины, Молдовы. Я надеюсь, что мой любимый город снова, вобрав всех этих людей, останется собой.

\* \* \*

Не только к мысли, что город может быть окружен, но и к самой мысли о войне с Германией большинство ленинградцев были не готовы. Два года, с августа тридцать девятого, из официальной пропаганды изымались упоминания Германии как возможного противника. В журналах "Костер" и "Пионер", которые мы, школьники, читали, прежде были очерки о пимфах, гитлеровской детской организации, и рассказы о немецких фашистах. Но после пакта Молотов-Риббентроп все это начисто исчезло. В художественных фильмах о будущей войне возможный враг не связывался с Германией. В повестях о шпионах, которыми пичкали детей, герои-пограничники, как Карацупа с его верной овчаркой, ловили засланных подлых диверсантов – но не на западных границах страны, а на дальневосточных и южных.

К тому же детей приучали к мысли о враге внутреннем. В учебнике по истории для младших классов учительница велела нам зачеркнуть или заклеить фотографии маршалов, которые, по ее словам, оказались предателями. По городу пустили слух, что враги для своей

агитации используют даже школьные тетради. На обороте обложки одной из них было стихотворение Пушкина о вещем Олеге – и над ним картинка. Так вот на ножнах меча у Олега якобы можно было прочесть слово “Долой”. Мы рассматривали эту картинку – не очень ясная типографская печать да живая фантазия могли создать какую угодно надпись. Особенно если у тебя чрезмерно развили бдительность.

Один из моих одноклассников, наслушавшись всего этого дома, пришел к учительнице, стал показывать ей картинку и объяснять. И она терпеливо слушала. Не перебивать же школьника, если он проявил бдительность.

В первой из коммунальных квартир, где я жил до войны, отправили в ссылку поляка, во второй – перса. Соседи реагировали по-разному. Одни говорили: раз выслали, значит, за дело. А моя мама жалела оставшуюся в квартире жену перса – украинку и их детей. В квартире их называли «персюками» и умилялись на их смуглые мордашки. Жалела мама и жену поляка, восемнадцатилетнюю беспомощную еврейку. А в разговорах домашних: опять на кого-то гонения – то китайцев выселяли, то корейцев.

О большой политике мы, мальчишки, узнавали по косвенным признакам. Война в Испании. В детских газетах тут же появились карикатуры - Франко с громадным окровавленным топором. Испанские дети приезжают в Ленинград. Они – герои. Все с ними хотят познакомиться, поговорить, хотя бы жестами. Завидовали их синим “испанкам” – потом они появились и у нас и, изменив цвет, стали называться пилотками. В магазинах появились испанские мандарины. Это было лакомство. Даже кожуру не выбрасывали - варили из нее варенье.

С "присоединением" Литвы, Латвии и Эстонии летом 1940-го началось повальное коллекционирование фантиков. Они заставили нас на время забыть о марках и монетах - уж больно хороши! (Правда, сами конфеты оказались не такими уж вкусными).

А реальность нового раздела Польши мы видели через другую призму. В разговорах взрослых замелькали слова "белостокский драп". За ним стояли ночи. Милиции не хватало, чтобы следить за порядком. Появилось слово "бригадмилыцы" - те, кто вызывались помогать. Взрослые говорили, что качество драпа оказалось неважное. Но отечественный вряд ли был лучше, или его просто не было.

Финская кампания отозвалась, конечно, куда серьезней. У многих отцы и старшие братья ушли на фронт. Поэтому слова "линия Маннергейма" и труднопроизносимое

"шюцкоровцы" вошли у нас в обиход. Все знали, что "кукушка" - это финский снайпер. Знали о похоронках, о раненых, об обмороженных.

В городе – полное затемнение. Даже синий свет запрещали. Светящихся бляшек, которые в Отечественную прикрепляли к пальто, еще не придумали. Под покровом темноты – разгул уголовщины, грабежи по всему городу. Да еще – пожары. Из-за страшных морозов трубы отогревали лампами – и это вело к пожарам.

В Ленинграде финская кампания чувствовалась особенно остро. Война шла рядом, у порога. Начиналась – в тридцати километрах от города. Ежедневно новые вести, слухи. В госпиталях – раненые и обмороженные. Так что окончание войны было огромной радостью.

На самом деле радоваться было нечему. Вторая мировая война уже полыхала. Подготовка к ней чувствовалась в новых строжайших сталинских указах: за малейшее опоздание на работу – под суд. И в том, что росли очереди за маслом и сахаром. Очередь приходилось занимать с вечера, и я, как и мои сверстники, тоже выстаивал часами.

\* \* \*

Детей до школы (в школу брали с восьми лет) нередко отдавали в "немецкие группы" – так было и со мной. Какая-нибудь из давно обрусевших немок занималась детьми, учила их началам грамоты, немножко – немецкому, гуляла с ними в городских парках. Группы были маленькие – пять-шесть детей. Заниматься негде, так что собирались дома у каждого по очереди.

В первый класс я пошел в тридцать седьмом. Несколько месяцев учился в школе возле снесенной теперь (увы!) Греческой церкви. Мы жили тогда на улице Радищева. А с января 1938-го перешел в 216-ю - на Фонтанке. У школы были хорошие традиции и яркая история. Там учились Аркадий Райкин и академик Зельдович. В 1971-м, когда Райкин лечился в подмосковном санатории "Сосны", мы с ним вспоминали школу, и оказалось, что несмотря на разницу в возрасте, я учился у тех же учителей. Особенно тепло вспоминали «географичку» Марию Максимовну Загребину.

«Книжный шкаф раннего детства - спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснуться в мировую литературу, в мирозданье. Волей-неволей, а в первом книжном шкапу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка».

Так считал Осип Мандельштам. И, думаю, многие с этим согласятся.

О скольких книгах, читанных до войны, мог бы тут написать! От "Витязя в тигровой шкуре" и "Тиля Уленшпигеля" до "Двух капитанов" Каверина – все это печаталось в журнале "Костер".

Мальчишеская романтика - приключения, путешествия - какой она была в тридцатых? Челюскинцы, папанинцы, освоение Северного морского пути. Суровая природа Арктики. Палатки на далеких льдинах. Фотографии белых медведей. Любимые конфеты конца тридцатых – "Мишка на Севере". Романтика освоения Сибири, Дальнего Востока. Молодежный энтузиазм Комсомольска-на-Амуре.

Дальние перелеты, парашюты, затяжные прыжки. Полеты к Северному полюсу и через полюс – в Америку. Ляпидевский, Леваневский, Коккинаки, Громов, Чкалов, Беляков, Байдуков. Женщины-пилоты Гризодубова, Осипенко, Раскова... Зачитывались книгой "Мои прыжки".

Ну, и конечно, революция и Гражданская война. Ворошилов, Буденный, конница, могучий натиск сабельных атак, тачанки. В это русло направляли романтику подрастающих поколений и фильмы и немалая часть детской литературы.

Накануне войны стала издаваться "Библиотека приключений". За ее книжками, с ярким тиснением, гонялись не только дети, но и взрослые. "Три мушкетера", "Дети капитана Гранта"... А в старых питерских квартирах хранились еще и книги с той романтикой дальних стран, что увлекала наших отцов, когда они были гимназистами, реалистами - Буссенар, Жоколио, Габорио, Райдер Хаггард, Киплинг. Это шло на растопку "буржук" в блокадную зиму.

Романтики реальных приключений в чужих странах не было. Среди моих сверстников ни один нигде не был. А старшие? Разве что участники войны с "белофиннами". Дядя Валя, брат моей мамы, прошел ту войну с первых ее дней до последних. Помня, что я собираю монеты и марки, присылал их мне, прямо в почтовых конвертах. Как ни странно, доходили. В моей коллекции до сих пор хранится монета, которую сделали в СССР для хождения на территориях, отвоеванных у Финляндии. Но быстро выяснилось, что финны просто уходили вместе со своими отступавшими войсками. Так что монеты остались без употребления. Моя - уже раритет. О боях на Карельском перешейке дядя потом рассказывал. Но о том, как и чем жили финны, - ничего. Он их не

видел.

Кинотеатры были всегда переполнены. В год на экраны выходило всего несколько фильмов. Но каждый из них смотрели миллионы. Потом горячо обсуждали. У меня с детства остались светлые впечатления от тех картин. Может потому, что меня не водили на пропагандистские, типа "Третий удар" или "Если завтра война". Теперь о них мало кто помнит.

Вкусы у меня, как и у многих сверстников, были непритязательны. В раннем детстве нравилась картина "Поэт и царь" - уже потому, что Пушкин там катал своих детей на спине.

Но сколько же было и по-настоящему хороших фильмов! "Дети капитана Гранта", с Черкасовым-Паганелем. "Остров сокровищ" с Черкасовым, Абдуловым (не нынешним) и артисткой Пугачевой (не нынешней), которая и стала известной только благодаря этому фильму. Герой - девушка, переодетая мальчиком. Революционность - герои фильма не просто отправились за таинственным кладом, им нужны были средства для ирландцев, восставших против английского господства. Фильм отделился от стивенсоновского замысла. Но для нас, мальчишек, он был явлением. Да разве только для нас? Буквально все распевали песню "Я на подвиг тебя провожала". Песни из этого фильма принесли первую славу Никите Богословскому. Под влиянием этой картины появились "люди Флинта" Павла Когана и вся его "Бригантина". Через полтора десятилетия она стала самой популярной песней у студентов и в туристских походах. И дала название серии альманахов "Бригантина", за которыми в библиотеках стояли очереди.

"Сто мужчин и одна девушка" со Стоковым и Диной Дурбин. "Петер" и "Катерина". Мы, мальчишки, мечтали посмотреть картину "Человек-невидимка", но детей на нее не пускали. Появилась первая цветная картина, американская. Три части: "Кукарача", "Три поросенка" и "Пингвины". И первая советская - "Сорочинская ярмарка".

Еще раньше - "Веселые ребята". Недавно кто-то из искусствоведов сказал в телевизионной передаче, что это был балаган. Но вся страна пела "Легко на сердце от песни веселой".

Я как-то расспрашивал Утесова, когда он был уже пенсионером, о музыкальной Одессе его юности, о певице Изе Кремер. Он отвечал вяло, без воодушевления. А потом вдруг оживился - заговорил о том, что наболело.

- Не поют теперь песен. А тогда - тогда все пели.

И правда, пели. И дома, собираясь по вечерами, и на улицах. (Это продолжалось еще в пятидесятых и даже в начале шестидесятых).

\* \* \*

Разве это не загадка? Нищета, недоедание, карточки, аресты – а люди поют, да еще с каким воодушевлением! "Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда".

Почему? До сих пор не могу найти ответ. Влияние пропаганды – бравурной, уверенной, безмерно оптимистичной? Вера в светлое будущее, которое внушалось? Отчасти - да.

Но, думаю, были и иные причины. На Западе - чувство безысходности. Не случайно Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер, Ромен Роллан, Анри Барбюс, да сколько еще других властителей дум западной интеллигенции восхваляли Советский Союз и Сталина. Бернард Шоу, побывав в СССР в начале тридцатых, писал, что это страна надежды, тогда как в родной Англии – сплошной пессимизм.

Это разочарование постигло западную интеллигенцию после первой мировой войны. Война началась с разгула шовинизма – особенно в Германии, да и во Франции, и в других странах. А потом – отрезвление, ужас – зачем, ради чего миллионы отдали свои жизни? Киплинг – и тот выразил это всеобщее чувство:

По всей земле, зализывая раны,  
Сидят бойцы, седые старики.  
Над всей землей несется гимн победы,  
Он полон гнева, злобы и тоски.

С 1929-го – мировой экономический кризис. Рушатся банки, останавливаются заводы, безработица. СССР этого не испытал – его экономика меньше привязана к мировой.

А разгул фашизма! Гитлер, Муссолини – на их фоне какими беспомощными выглядели все эти чемберлены и даладьё...

Так что вера в западные демократии, в либерализм, капитализм – все это оказалось под сомнением. А из Москвы неслись победные кличи, уверенность в будущем. Даже южноафриканский поэт Уильям Пломмер, отнюдь не коммунист, и тот писал: "Единственная надежда – Москва".

Все это еще больше усиливало влияние большевистской пропаганды в самом СССР.

Ну и, пожалуй, еще одно. Может быть, самое главное. Большинство населения Советского Союза - молодежь. Стариков не осталось. Те из пожилых, кто перенес ужасы

Гражданской войны, голода, террора, не пели. А молодость надеется, верит в лучшее и поет.

Пели разное. "Наш паровоз, вперед лети". "Катюшу". "Тачанку". "Каховку". "Не спи, вставай, кудрявая" Шостаковича. Не с финской ли войны - "Синий платочек"? Потом, во время Отечественной, слова были изменены. Самые популярные - песни Дунаевского. Нередко бравурные, но всегда мелодичные и жизнеутверждающие. "А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер". Очарованию этих мелодий поддавались даже те, кто не принимал советский строй и советскую культуру.

С восторгом пели: "И вместо сердца – пламенный мотор!". Не задумывались: хорошо ли это – вместо сердца мотор?

Уже потом, после смерти Дунаевского, стало известно, что они со Шкваркиным сочиняли романсы. И отнюдь не бравурные. "Жизнь прошла, обошла стороной..."

Мама тоже часто пела. Правда, совсем-совсем другое. И с другим настроением. "Калитку". "Я ехала домой, душа была полна...". "Никому не скажи, что я нежная". "Гори, гори, моя звезда". "А тебя, с красотой, продадут, продадут...". Арии из оперетт. А совсем уж в игривом настроении - песенки двадцатых годов: "Девушку из маленькой таверны", "Шумит ночной Марсель", "Был в Батавии маленький дом". Когда собирались родственники, дядя Валя просил, чтобы спели "Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой". Они были из-под Самары, песня была им близка.

Входил в жизнь патефон. Но многим ли был по карману? Собирались у тех счастливых, у которых он был. Романсы. Кэто Джапаридзе. Тамара Церетели. Задушевный голос Вадима Козина, его "Мой костер", "Дружба". Западные танго, фокстроты, вальс-бостон.

А язык того времени? Где теперь слова пресс-папье, клякс-папир, керосиновая лампа, примус, керогаз, граммофон, конторка, ундервуд, зингер? Исчезли маркизет, файдешин, ситчик, креп-жоржет, крепдешин, мулине. Не слышно – "габардин", "коверкот". Нет слов "гамаши", "краги".

По дворам не ходят шарманщики, лудильщики, дровосеки, точильщики, полотеры.

Нет магазинов "Тэжэ". Нет слов "управдом" и "квартуполномоченный". Вместо "голкипер" говорят "вратарь", вместо "аэроплан" - "самолет". Исчез "кинематограф". И, слава Богу, - "лишенцы".

Нет трамваев с открытыми площадками и с "колбасой" - резиновым шлангом, на

котором так здорово висеть, пока милиционер не заметит.

Забыты слова "огольцы", "атанда", такие привычные для тогдашних ребят. Еще прочней забыты "гопники". Так называли хулиганов и бездомных. Исчезло распространенное выражение "три пятнадцать" – цена бутылки водки.

Надписи на заборах были куда однообразней. Фантазия большинства грамотеев ограничивалась, в сущности, лишь одним словом. Но зато оно испещряло все возможные поверхности. Родился даже анекдот: - Как строится забор? Пишут слово из трех букв, и к нему прибавляют доски. (В наше время народ стал образованнее, пишут по-английски - из четырех букв).

В обиходном языке бытовали немецкие и еврейские слова. Детям в шутку говорили: отправят на цугундер (гауптвахту). Голова болит – катценяммер. А если торопили - бекицер, бекицер! В городе вообще было неизмеримо больше немцев и евреев, чем сейчас.

Теперь исчезли слова "беговые лыжи" - длинные и узкие. У меня в памяти они связаны с официальной пропагандой спорта. Спорт - для труда и обороны. "Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот". Тут недалеко уже и до "Границы на замке".

Зато "финские сани" связаны с чем-то стародавним, уходящим и полузабытым. На сиденьи - старушка или старичок, чаще - «из бывших». Сзади, между длинных полозьев - тоже не те, что пели "Марш энтузиастов".

Катались на лыжах по Неве, по Фонтанке и каналам. Горячей воды и парового отопления в городе еще не было. Теплая вода не стекала в реки и каналы. И они зимой замерзали, как встарь.

\* \* \*

Повседневные радости не оборвал даже террор тридцать седьмого. Мечтали, влюблялись, рожали. Весь ужас происходящего по-настоящему понимали немногие. Да и те не могли думать о нем постоянно. Страх, конечно, никуда не уходил, но уставали не спать по ночам и ждать стука в дверь.

Магазин "Смерть мужьям" на Невском завораживал женщин, даже тех, кому это было вовсе не по карману. Не удержалась и моя мама - купила там шляпку. Шляпка была такая изящная, что показаться в ней на улице было просто неприлично. Она была из другого мира, слишком уж отличалась от всего окружающего. Но дома, перед зеркалом, можно было полюбоваться всласть.

Отец только что получил право жить в Ленинграде, хотя совсем не был уверен, что завтра его снова не отправят в ссылку. Да и мама не так давно считалась "лишенкой"... Но хотелось же нравиться, одеваться, шутить, смеяться - это не умирало.

А еще был театр. Шли тогда даже новейшие западные пьесы. "Опасный поворот". "Умер мистер Пик". В разговорах – имена артистов. Печковский. Рассказывали, что на каком-то приеме в Кремле он спел свою знаменитую арию Германа, обращаясь, естественно, к Сталину. При словах "Сегодня ты, а завтра я" все замерли. Но когда Сталин в свойственной ему манере стал слегка похлопывать - вздохнули с облегчением. Но Колымы Печковский все же не избежал, как и другой кумир тех лет – Вадим Козин.

И драматические актеры. Юрьев в роли Арбенина. Черкасов – и Паганель, и царевич Алексей, и Полежаев, и Горький. Горин–Горяинов. Восхищались Корчагиной–Александровской, Мичуриной–Самойловой, Скоробогатовым, Полицеймако, Бениаминовым, Казико. В филармонии блистали Мравинский и Эллиасберг. Смеялись шуткам Шифмана, Янета, Ростовцева. Детей водили смотреть кукол Деммени.

Театры начинались в восемь вечера, шли зачастую с тремя антрактами. Публика подолгу гуляла в фойе – людей посмотреть и себя показать.

Может показаться странным, но в культуре последних предвоенных лет меньше запретов и ограничений, чем после 1946-го. Журнал "Интернациональная литература" был окошком, пусть и зашторенным, в культурную жизнь Запада. Журнал закрыли во время войны. Возродился он только после смерти Сталина - как "Иностранная литература".

\* \* \*

Но можно было не ходить в театры, на выставки, в музеи, а просто бродить по улицам. Петербург-Ленинград сам - произведение искусства. Он завораживал: его архитектура, его история. Не люблю, когда о нем пишут слащаво. Как сказала бы Ахматова: "большой сюсюк". Сама она о своем любимом городе писала: «Он был с ног до головы в безвкусных вывесках - белье, корсеты, шляпы, совсем без зелени, без травы, без цветов, весь в барабанном бое, так всегда напоминающем смертную казнь, в хорошем французском языке, в традиционных похоронных процессиях и описанных Мандельштамом высочайших проездах».<sup>iv</sup> Это - Петербург ее детства. Так непохоже на придыхания многих и многих. А ведь Ахматова любила этот город не меньше, чем они.

В Петербурге моего детства грандиозных похоронных процессий стало меньше, но

появились громадные первомайские и ноябрьские демонстрации. Хорошего французского языка стало явно меньше, хотя он еще не совсем исчез. Барабанный бой - его добавили пионерские отряды. Корсеты вывелись, правда еще не вполне. Большие дамские шляпы – почти совсем. Зелени не прибавилось. Исчезли старые безвкусные вывески, появились новые, еще более безвкусные. Наверно, поэтому те, старые, так любовно показывают сейчас по телевизору и в кино. А что до высочайших проездов, так они совершались уже в закрытых автомобилях.

По сравнению с началом века внешний вид города не так уж изменился. Разве что за счет домов, построенных перед первой мировой войной (у Ахматовой - «Пятиэтажные росли громады»). В двадцатых-тридцатых новых домов почти не строили. Старые обветшали – но их не ремонтировали. И красочных витрин поубавилось. Новых садов не разбивали. Большинство улиц оставались булыжными или торцовыми - асфальтировали мало.

Город не рос. Расти он стал позже – с конца пятидесятих. Для меня он был легко обозрим. Жили мы на Чернышевском переулке (на полпути от Пяти углов к улице Росси), а прежде - на улице Радищева (бывшей Преображенской). Невский - рядом. До большинства театров и кино – рукой подать. Только до Мариинки - трамваем. Генерал А.А. Игнатьев писал в своей книге "50 лет в строю", что Петербург начала века для него - это треугольник между Невой, Невским и Литейным. Немногом больше он был и для меня.

У трамваев - два разноцветных фонарика наверху. По цветам можно издали догадаться, какой номер. Автоматических дверей не было. А висеть на подножке – наслаждение!

Трамваи дребезжали. Подводы грохотали по булыжной мостовой, гулко цокали подковы. Троллейбусы только еще появились. В Финскую войну, однажды, при полном затемнении, троллейбус или автобус свалился в Фонтанку, и отцы города отменили движение вдоль набережных Фонтанки. Там можно было гулять, и твой голос не заглушался ревом моторов. Сейчас это трудно представить.

В тридцать четвертом-тридцать пятом по улицам еще развозили керосин. Лошадь с большой цистерной останавливалась на перекрестках. Керосинщик рожком оповещал о себе, и из окрестных домов быстро набегали с бидонами – готовили-то на примусах и керосинках.

Из ворот тянуло сыростью. Из-за узких дворов – в них никогда не попадало солнце, и из-за дровяных складов во дворах. В нашем дворе он был двухэтажный. Почти у каждой семьи – свой отсек. Дворники разносили вязанки дров по квартирам.

Во дворах - прачечные. Большие помойки. Дворники лопатами выгребали содержимое на подводы. Лишь после войны, очевидно, по немецкому образцу, появились машины для сжигания мусора. Какой-то особый противный запах гари шел от них по всей улице.

Было ли предчувствие войны? Взрослые читали статьи Ермашова в “Огоньке”: страны Европы сдаются, одна за другой. Но официальная пропаганда всячески успокаивала, в сущности, не давала информации о фашизме в Европе. Разве что в лекциях, устно, некоторые докладчики позволяли себе упоминать об этом.

А общее настроение было такое типичное для нашей страны: авось, пронесет!

### Начало

Война застала меня на Волхове, в глухой деревушке под Киришами, в нескольких часах езды от Ленинграда. Моя тетя работала в геодезической партии и взяла меня с собой – отдохнуть после школы.

Я перешел в пятый класс. Церемонию в школе обставили торжественно. Каждому вручили табель успеваемости. Показали фильм “Волга-Волга” (правда, мы видели его уже не раз). И сразу после этого я отправился в Кириши. Бродил с экспедицией по лесам. Помогал носить теодолит и другие приборы. Но пробыл там совсем недолго.

Война! Мы узнали о ней не из речи Молотова – в деревушке радио не было. Вечером, когда геодезисты вернулись из леса, колхозники рассказали, что их собрали и объявили, что началась война. Геодезисты должны были ждать указаний. А для меня – первое в жизни самостоятельное решение: как быть? Остаться с ними или возвращаться домой? Решил возвращаться. Самостоятельно добрался до железнодорожной станции. Но билеты уже не продавали. Шли бесконечные воинские эшелоны. Наконец, какие-то красноармейцы сжалились, взяли к себе в теплушку.

Ленинград встретил солнечной погодой и окнами, заклеенными крест на крест полосками бумаги. Подходя к дому, встретил одноклассников. С вещами. Их эвакуировали на Валдай. Я тоже был с вещами, и они решили, что я – с ними.

Уезжали мои друзья. Те, кого я успел полюбить. Да и свою школу на Фонтанке мы любили. Ее роскошный актовый зал – театры позавидовали бы ему. Коридоры со скульптурами античных героев. Все это создавало настроение. Когда-то это было Петровское коммерческое училище – и в высоких застекленных шкафах по стенам классов попрежнему стояли стеклянные банки с семенами диковинных “колониальных” растений, которые изучались там до 1917-го. В мое время - 206 школа. Большинство школьников – из семей интеллигенции. Вообще это был район, где жила питерская интеллигенция.

Сердце екнуло – уезжают. Хотелось с ними. Но я с таким трудом прорвался в город... Почти никого из них я больше никогда не увидел. Не увидел больше и Панфилова, строгого директора школы, и учителя пения Вахромеева, единственного мужчину из учителей нашего класса. Оба не пришли с войны.

... Я вернулся к ленинградской жизни. Одноклассники уехали. Школы не было. Взрослым было не до меня. Делать было нечего, и я читал. Прекрасные библиотеки старых питерских квартир. Белые ночи еще не совсем кончились, по вечерам можно было читать и без электричества. В молниеносное продвижение немцев к воротам города никто не верил. Очевидно потому, что город не бомбили, даже когда в Москве бомбежки стали обыденным делом. Доходило до полной наивности: думали, не увезти ли детей на дачу, в пригороды – если начнут бомбить, там будет безопаснее. Страх оказаться в осажденном городе не было.

А тем временем поток беженцев в Ленинград нарастал: и с юга и из Эстонии. Неожиданно появились они и в нашей семье: отец моего отчима, в прошлом артист Александринки, и его жена. Давно обрусевшие немцы, они не захотели жить под третьим рейхом и с приближением фронта к Гатчине (они жили там, уйдя на пенсию) перебрались в Ленинград, к нам.

Из-за притока беженцев казалось, что людей в Ленинграде к началу блокады было не меньше, а больше, чем перед войной.

### В блокаде

Первые числа сентября, город уже окружен, первые немецкие снаряды, еще до первых бомб. Бомбежки тоже начались в сентябре, но позже. И с тех пор - уже постоянно, до начала декабря, когда немцы прекратили их на четыре месяца – наверно, думали, что город сдастся и без них. “Воздушная тревога”, “Отбой воздушной тревоги” – и снова

сирены... и так бесконечно. Повсюду выискивали шпионов – это они подают сигналы мессерам, хейнкелям, юнкерсам. Но даже намек на панику не было. Ленинград не пережил ничего подобного московскому 16-му октября.

Вся родня с маминой стороны собралась вместе, в одну большую комнату на Шестой линии Васильевского острова, напротив кинотеатра «Форум». Все Макрушины: бабушка, сестра мамы, жена ее брата. И мы с мамой. Женщины и дети. Мужчин, как и во многих семьях, не было. Хозяина комнаты, дядю Валю, снова мобилизовали, и еще весной отправили под Брест. Моего отчима вызвали в Москву. Женщины жались друг к другу, тянуло быть вместе – не так страшно. По вечерам – общие беседы.

О чем говорили, когда подолгу жили вместе, в одной комнате?

Времени у меня была масса. Старался не думать о хлебе – хотя бы не каждую минуту. Когда не читал, слушал разговоры.

Ну, конечно, о скором прорыве блокады, о том, что вот-вот отобьют у немцев ключевое место – станцию Мга, о том, что на помощь Ленинграду идут сибирские дивизии, генерал Федюнинский. Надежды эти, одна за другой, рушились, потом возникали снова, чтобы обрушиться вновь.

Больше всего вспоминали голод в Поволжье, в 1921-м. Тогда умерли сотни тысяч, может быть, больше – кто тогда считал? Среди них – оба моих деда.

Но хотелось хоть как-то отвлечься от нараставшей беспросветности. Хотелось - о чем-то спокойном, радостном. Вспоминали о "мирном времени" - так тогда называли время до 1914-го, до Германской войны.

Бабушка, Лидия Петровна Макрушина, помнила то время хорошо. Она родилась в 1880-м. Самарская губерния становилась процветающим краем. Дед работал в управлении владениями Киселевых, самых богатых самарских помещиков. В начале 1914-го он построил новый дом в городе Бузулук. Настолько добротный, что потом, уже в Гражданскую войну, его выбрали для своего штаба чехословацкие legionеры, бывшие военнопленные, объединившиеся в Бузулуке перед тем, как отправиться на родину. А потом на несколько дней в этом доме обосновались чапаевские командиры. Неплохой, видно, дом, если на него глаз положили и чехи, и чапаевцы.

В семье деда знали последние новинки той литературы, которая, которая через несколько десятилетий обрела название – Серебряный век. У бабушки, правда, досуга было

мало. С 1900-го, когда появилась ее первая дочь, моя мама, до 1914-го она родила шестерых детей. Зато мама, еще гимназисткой-старшеклассницей, и дядя Валя увлекались Бальмонтом и Мережковским. Читали журнал "Аполлон". Знали его авторов. Гумилева. Слышали даже историю о Черубине де Габриак, но в их памяти она отложилось не очень ясно – далеко все-таки был Бузулук от Петербурга и его запутанной литературной и околосредованной жизни.

Вспоминали о Гражданской войне, и о наступивших тяжелых временах. О свержении царя не печалились. О Феврале - как о глотке свободы. Для молодежи это был уход от строгих запретов - мама вспоминала, как она и ее подруги тогда впервые накрасили губы. Пришли на экзамен с накрашенными губами – неслыханная вольность. Когда их спросили, хорошо ли они подготовились, мама ответила: - А разве не видно?

Рассказывала мама и другие истории. О том, например, что в мужской гимназии темой сочинения было: "Лень – мать всех пороков", и в одном из поданных сочинений оказались всего одна фраза: Лень – мать всех пороков, а всякую мать мы должны уважать.

Или о том, как уже при большевиках одну из ее подруг повели в тюрьму, и начальница гимназии потребовала, чтобы ее тоже арестовали, раз уж до того дошло, что арестовывают ее подопечных.

Гимназисты, друзья мамы, ушли в Добровольческую армию Деникина. Вестей о них больше не было.

Но все возвращалось к голоду. Самые страшные воспоминания были о голоде 1921-го, когда Поволжье вымирало. Мама ездила в "Ташкент, город хлебный" – надо было кормить пятерых братьев и сестер - она была старшей. Потом работала в тифозном госпитале в Самаре. Была уверена, что если бы не помощь английских квакеров и Американской организации помощи голодающим (АРА) никого из родных и знакомых не осталось бы в живых. Память об этом ужасе была такой, что как только появилась возможность, выжившая часть семьи уехали в Москву и Ленинград, бросив и дом, и весь скарб. Когда я был маленьким и капризничал или привередничал, бабушка говорила:

- Голода ты не видел.

Но через двадцать лет голод, еще более страшный, настиг нас всех в Ленинграде.

Мама часто сокрушалась, что из-за волжского голода, из-за того, что надо было выхаживать младших братьев и сестер, она, окончив гимназию с золотой медалью, так и не

смогла получить высшего образования. Пришлось перебираться в Москву, потом в Ленинград. Работала на фабрике. Потом поехала за моим отцом в ссылку, они были друзьями с самарских времен. Он - из купеческой семьи. Поверил, что ленинский курс на НЭП – всерьез и надолго. И в 1928-м, когда Сталин, укрепившись у власти, покончил с НЭПом, отца лишили всего, что у него было, и отправили в ссылку, как и десятки тысяч других.

В ссылке родители жили дружно, но брак так никогда и не оформили, не "расписались".

Когда я родился маме пришлось на лошадях добираться до ближайшего ЗАГСа сотни верст – Сибирь-то велика. Добралась лишь в середине сентября, и хотя объяснила, что родила в августе, услышала:

- А книга записей за август у нас уже закрыта. Вот - выбирайте любой день в сентябре.

Она выбрала первое сентября.

Потом – как меня назвать? Отец предложил Григорием – в честь своего отца. Мама – Александром, в честь своего. Почему сошлись на Аполлоне? До ссылки отец сидел какое-то время в тюрьме. Из сокамерников больше всего ему нравился человек по имени Аполлон. Настоящий интеллигент. Тоже "из бывших". Умер в тюрьме, не дождавшись освобождения. В его память меня и назвали.

Мама крестила меня отчасти по традиции, отчасти из протеста против гонений на религию. Отец, еврей, не возражал. Он не соблюдал никаких религиозных обрядов.

Был я, конечно, ребенком нежеланным. Нелегко было жить в тех условиях, хотя местные относились к ссыльным неплохо. Но с маленьким ребенком стало совсем трудно, и мама уехала со мной в Ленинград.

У отца через несколько лет кончился срок, но появляться в больших городах ему не разрешили. Он жил в Новгороде и иногда все же приезжал к нам, на день-два, нарушая запрет. Тогда-то у меня и произошла первая встреча с людьми из НКВД. Как-то во дворе ко мне подошли двое мужчин. Спросили о том о сем, потом - встречаю ли я папу. Мне было четыре с половиной года. Я ничего не подозревая, сказал, что да. Тогда мама и решила, что лучше уж мне объяснять, что происходит в стране. Не в четыре года, конечно, но довольно рано.

В 1938-м она оставила отца, ушла к другому. Но они остались с отцом друзьями до конца жизни.

В сущности, только тогда, в этих блокадных разговорах, я впервые узнал многое и об истории своей семьи, и вообще о жизни. Говорили откровенно – чего уж бояться слов, если не сегодня-завтра можешь умереть от обстрелов или голода. Раньше я бы многое в этих откровениях не понял – слишком был мал. Но тут мне уже шел тринадцатый год. Да и взрослеешь под бомбежками быстрее.

\* \* \*

Бомба попала в кинотеатр “Форум”, на седьмой линии Васильевского острова, прямо напротив дома, где мы все собрались. Кинотеатр вспыхнул как факел. Люди из соседних домов высыпали на улицу. Крики людей – на это еще были силы. Лай собак – в сентябре еще были собаки. Для меня, как и почти для всех вокруг, это была первая бомба совсем рядом. Я сидел под окном, читал “Графиню Монсоро”. Вдруг на меня свалилось одеяло, которым было завешено окно. Звон стекла, осколки разлетелись по всей комнате, и, казалось, пламя прямо врывается в окно. Говорили потом, что это была комбинированная фугасно-зажигательная бомба.

После этого жить там оказалось невозможно, и пришлось разъехаться по своим домам. Мы с мамой вернулись к себе, на улицу Ломоносова, или, как все называли ее по-старому – Чернышев переулок. Но и там не хотели быть одни. На этот раз объединились с соседями. Думаю, что это было типично тогда для петербургских квартир. Все переселились из своих комнат в кухню. Кухня большая – тридцать метров. Дом когда-то построили купцы Елисеевы, еще до русско-японской войны. Дом, как и их известные магазины, был построен фундаментально, с размахом, красиво. Просторные коридоры, кладовки. Но главное – комнаты выходили на улицу, на обстреливаемую сторону, а кухня была в глубине квартиры. В соседний дом, номер 12 (наш был – 14) снаряд уже попал.

Так что в кухне – безопасней. Нас собралось там много, хотя, в сущности, только две семьи. Большая семья Набоковых (о писателе Набокове я услышал только много лет спустя, так что не знаю, в каком родстве они были). У нас с ними было много общего. Они тоже пережили ссылку – их выслали в 35-м, после убийства Кирова. К счастью, не очень далеко – в Уфу, и в 39-м разрешили вернуться.

Сближала нас с Набоковыми и любовь к литературе. У них была прекрасная

дореволюционная библиотека. “Брокгаузовская двадцатка” – двадцать богато изданных томов Шекспира, Байрона, Пушкина... Дешевые, на газетной бумаге, “144 тома иностранных писателей” и 60 томов дополнения: Вальтер Скотт, Гофман, Шпильгаген, да кого там только ни было! И я читал, читал, читал...

Зоя Григорьевна, младшая дочь Александры Иосифовны, узнав о моей любви к стихам, дала мне толстую тетрадь со стихами символистов и акмеистов – она переписывала их в свои гимназические годы. На обложке тетради вывела: "Лирика пустынной души". Спросила меня потом, понравились ли мне стихи. Я сказал, что понравились.

- Ну, тогда можешь оставить их себе.

Эту тетрадь я храню до сих пор.

В семье Набоковых - бабушка, две ее дочери и трое внуков, от 18-ти до 28 лет. Ждали призыва в армию, но их, как и многих ленинградцев, долго не брали: в армии пришлось бы кормить, а нечем.

Нас – четверо: мама, я, “дед” (отец отчима) и его жена. Был еще кот, любимец всей квартиры. Его кормили до последнего. Но он, бедняга, не мог есть хлеб из суррогатов, который ели мы. И стал первой жертвой блокады.

До войны у нас были еще две собаки - пойнтер и сеттер. В последние предвоенные годы среди породистых собак свирепствовала чумка. И оба пёсика погибли. Но в доме не все об этом знали. Пришел как-то сосед из верхней квартиры: - Я понимаю, у вас, конечно, не поднимется рука на своих собак. Давайте, я это сделаю. Только уделите моей семье хоть немного мяса...

По вечерам, чтобы заглушить чувство голода, вспоминали прошлое. “Дед”, Василий Адольфович, - о театральном Петербурге, о Варламове, Савиной, Тиме, Давыдове, Лидии Липковской, Орленеве и многих других, кого знал или даже вместе играл в Александринке. О прежней петербургской жизни знали хорошо и Набоковы. Старшая, Александра Иосифовна, родилась в начале 1870-х.

Преимущество общей жизни на кухне мы особенно почувствовали пятого-шестого ноября, когда немцы обрушили на город бомбовый шквал. Большой фугас разорвался в полутораэта метрах от нашего дома. Бомбы падали в Фонтанку. Пол ходил ходуном. От роскошного здания банка, совсем рядом, остались только стены. Рассказывали, будто кому-то все же удалось спастись. Массивный старинный стол перевернулся, и человек оказался

в пространстве между крепкими дубовыми ножками. Так и летел вниз. Ножки задержали падавшие вслед обломки, и в пространстве между ними был воздух. Там его и откопали. Так ли было на самом деле? Но хотелось верить в чудеса.

В нашей комнате тогда вылетели стекла и даже стеклянные двери книжного шкафа. Правда, не все: как-то ассиметрично – действие взрывных волн непредсказуемо. Пришлось забивать окна фанерой. Помог дворник, дядя Вася, добрая душа. Конечно, не бесплатно. Но температура все равно была как на улице. А та зима, как известно, была одна из самых суровых.

Осенью у людей еще хватало сил бывать у старых друзей, узнавать, все ли живы. Самой близкой нам была семья Григорьевых. В круге общения нашей семьи они занимали особое место. Дружили много лет. Они жили неподалеку, как я уже писал, - в середине Гороховой.

Встречались мы и со старыми сослуживцами мамы – преподавателями медицинского техникума, с коллегами отца (его самого еще летом сорок первого вызвали в Москву, а оттуда в Свердловск) – географами и геологами. У ленинградской научной интеллигенции еще до войны была, в отличие от московской, еще одна тема для горячих обсуждений: научные учреждения, издательства и журналы начали переводить в Москву. Над питерскими учеными нависла угроза остаться невостребованными.

Несколько раз виделся с отцом. В его квартире, тоже, конечно, коммунальной, жила интеллигентная еврейская семья. Два брата-инженеры работали на оборонном заводе. Когда старший из них, Яков, настолько ослабел от голода, что не вышел на работу, за ним прислали машину – неслыханно для тогдашнего Ленинграда. Завод не мог без него обойтись.

Соседями моей бабушки на Васильевском была немецкая семья. Интеллигентные пожилые немки, седые, чистенькие, со вкусом причесанные. Никакой симпатии к фашизму. По городу шел слух, что Васильевский остров бомбить не будут – там с незапамятных времен жили немцы. Но в первых же бомбежках досталось и Васильевскому.

Общались с друзьями Набоковых. С контр-адмиралом Балкашиным, преподавателем каких-то военно-морских наук – он был женат на одной из Набоковых. С Тamarой Гинцберг, невестой одного из младших Набоковых. Ее отец, капитан или майор, попав в окружение, застрелился, памятуя наказ Сталина, что сдаются только изменники. А потом его часть все-

таки вышла из окружения. Можно представить горе семьи!

Так получилось, что среди родственников и друзей в Ленинграде не было ни одного члена партии. Когда маме на работе предложили вступить в партию, она ответила: - Сначала я была “беспартийная сволочь”, потом – “гнилая интеллигенция”. Так что пусть такой и останусь. Парторг оказался порядочным человеком – не донес.

Какие настроения были в этой среде, которую Сталин называл “перепуганные интеллигентики”? Советская власть была им чужда, все они от нее пострадали. Но победы Гитлера никто не желал (разве что одна семья, кстати, потомственных аристократов – не буду их называть). Не верили заявлению ТАСС, за несколько дней до войны, что Германия нападать не собирается. Не верили бравурным песням:

И в каждом пропеллере дышит  
Спокойствие наших границ.

Не знали мы тогда, что только двумя годами раньше, в августе 1939-го, Сталин на обеде в Кремле, во время визита Риббентропа и заключения советско-германского пакта, провозгласил тост: «Я хочу выпить за Гитлера, авторитетного вождя немецкого народа, заслуженно пользующегося любовью. Я пью за осуществление всех планов вождя немецкого народа». Сталин ведь нашел тогда хвалебные слова и о Гиммлере – как о гаранте порядка в Германии. Риббентроп после этого обеда с удовлетворением записал в своем дневнике: «Русские очень милы. Я чувствовал себя среди них как среди старых партийных товарищей».

А в июне 1940-го, когда фашисты заняли Париж, Сталин поздравил Гитлера с победой. И это еще не всё... 20 апреля 1941 года, за два месяца до начала войны, Сталин поздравил Гитлера с днем рождения.

И уж, конечно, никто не подозревал, что Сталин и Гитлер заключили секретное соглашение поделить между собой Европу.

7 ноября Сталин убеждал: «В Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат. Германия истекает кровью... Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик, - и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений».⁹ Хотелось верить – но не верили.

С горькой иронией отнеслись и к посланию Калинина, “всесоюзного старосты”: “Ленинградцы, дети мои”. Он призывал потуже затянуть пояса. А люди уже умирали...

“Перепуганные интеллигентики”! Их били, сажали, лишали имущества, таскали по ссылкам. Но, они не утратили веры в свою страну, в разгром немецкого фашизма, хотя и понимали, что нужны не “несколько месяцев, полгода, может быть, годик”. Продолжали работать, сколько хватало сил, каждый на своем месте. Мама во время бомбежек дежурила на крыше – нужно было гасить зажигательные бомбы в ящиках с песком. Иногда ходил с ней и я.

Не верили распускавшимся слухам, будто первопричиной голода стал пожар на продовольственных Бадаевских складах после немецкой бомбежки. Могло ли все содержимое складов погибнуть от одной бомбежки? И вообще – неужели громадный город полностью зависел лишь от одной группы складов? А не был ли этот слух выгоден ленинградским начальникам или властям, куда более высоким? И не само ли это начальство его распускало? Свалить страшный голод на немецкую бомбежку и на нерадивых хозяйственников, которые чуть ли не все продовольствие для огромного города якобы собрали в одно место.

Был и другой слух (его передавали друг другу только шепотом и только самым близким) – что, не надеясь отстоять Ленинград, власти готовились заминировать важнейшие объекты.<sup>1</sup> Слухи, что даже топили баржи с продовольствием. Не хотелось верить, что это – правда. Но впоследствии что-то признал даже Микоян. По его словам, Жданов, а за ним и Сталин, в начале войны отказались посылать в Ленинград дополнительное продовольствие. Те составы, которые шли на запад, с началом германского вторжения развернули обратно. Только не лукавил ли Микоян? Зачем было везти продовольствие к западным границам, в плодородные области, которые сами снабжали страну? Не было ли это то самое продовольствие, которое советское правительство поставляло Германии вплоть до первого дня войны?<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Существует бесчисленное число книг и статей, где пишут, как ленинградское руководство бесконечно заботилось о нас, жителях. Но, увы, есть и мнение Владимира Семеновича Семенова, известного дипломата, заместителя министра иностранных дел. Он писал, основываясь на свидетельствах очевидцев: «Жданов праздновал в Ленинграде труса.. Он и Ворошилов, отправленный сразу командовать Северо-Западным фронтом, фактически считали падение Ленинграда неизбежным». – От Хрущева до Горбачева. Из дневника чрезвычайного и полномочного посла, заместителя министра иностранных дел СССР В.С. Семенова // Новая и новейшая история. – 2004. - № 4. – С. 102.

<sup>2</sup> В воспоминаниях, которые Микоян опубликовал, уже отойдя от активной деятельности, сказано: “В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развертывали наступление,

## Голод

С начала ноября сорок первого всем стало не до бесед. Наступил настоящий голод.

С середины ноября встречи между родственниками и друзьями - если они не жили совсем уж рядом – почти прекратились. Не хватало сил. Если раньше люди пригибались при свисте снарядов, теперь уже нет. Не потому, что стали храбрее. Просто не было сил. Не было сил опускаться в бомбоубежище, хотя оно было в соседнем доме. В сентябре-октябре иногда даже ночевали в бомбоубежище с середины ноября – и это не по силам.

20 ноября в пятый раз снизили нормы выдачи хлеба. Служащим, иждивенцам и детям – по 125 граммов в день, да и то с примесью целлюлозы. Вместо жиров, сахара и всего, что полагалось по карточкам, - щепотку яичного порошка, кусочек американского кокосового масла или что-то в этом роде. На месяц! Вода – из Фонтанки, куда десятилетиями сливали нечистоты. И нам-то еще повезло - жили рядом с Фонтанкой.

Кто умел, доставал дуранду - так в Ленинграде называли жмых. Ни мы, ни наши близкие этого не умели. В какой-то мере выручало, что мама еще летом запаслась чечевицей. Пережив голод 1921-го в Поволжье, она всегда боялась его повторения. И когда еще работали коммерческие магазины и столовые, сделала запас. Но, конечно, этого хватило ненадолго. В одной из листовок, которые немцы бросали на город, были слова:

---

многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, поскольку одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправлять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.

Полагая, что ленинградцы будут только рады такому решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и И.В. Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил А.А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие.

Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин сказал, зачем я адресую так много продовольствия в Ленинград.

Я объяснил, чем это вызвано, добавив, что в условиях военного времени запасы продовольствия, и прежде всего муки, в Ленинграде никогда не будут лишними, тем более что город всегда снабжался привозным хлебом (в основном из районов Поволжья), а транспортные возможности его доставки могли быть и затруднены. Что же касается складов, то в таком большом городе, как Ленинград, выход можно было найти. Тогда никто из нас не предполагал, что Ленинград окажется в блокаде. Поэтому Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия” // Военно-исторический журнал. – М., 1977. - № 2. – С. 45-46.

“Чечевицу съедите – город сдадите”. Долгое время после войны мне казалось – ничего нет вкуснее чечевичной похлебки. Я и до сих пор ее люблю.

Декабрь и январь – настолько страшные, что рука не поднимается описывать. Да и не уверен, что так уж отчетливо помню. От голода память, как и все чувства, притупляется. Восприятие становится не очень отчетливым. Вялость.

В декабре не стало “деда” и его жены. Им обоим – под семьдесят, здоровье – плохое. Шансов выжить нет. И все же – такой конец... Первой – она, Анна Ивановна. Сказала, что пойдет на улицу – там вроде хоть изредка ездят медицинские машины, подбирают умирающих, отвозят в больницу. Может быть, так иногда и бывало, но надеяться на это было бессмысленно. Просто она решила умереть на улице, чтобы родным не пришлось возиться с ее трупом.

А через несколько дней то же самое сделал и Василий Адольфович. Больше мы их, конечно, не видели.

Память о них – альбом фотографий коллег-артистов, с которыми Василий Адольфович работал в Александринке или был знаком. На одной фотографии Владимира Николаевича Давыдова, известнейшего актера Александринки и Малого: «Моему дорогому и сердечно любимому ученику-другу Васе Гарлину (Гавеману) на добрую память и с наилучшими пожеланиями как в жизни, так и на сцене. Его верный старый друг и учитель В. Давыдов. 20 ноября 1908 г.». На другой: «Дорогому Василию Адольфовичу Гарлину – другу и товарищу. Ив. Лерский». Еще: «Василию Адольфовичу на добрую память. В. Стрельская». Фотографии, с дарственными надписями и без, В.Ф. Комиссаржевской, Ю.М. Юрьева, М.Г. Савиной, А.Д. Вяльцевой, В. Максимова, Л. Липковской, Рославлевой, Хлюстиной, Лабунской, Тиме.

Не стало моего двоюродного брата и двоюродной сестры – им обоим не было и восемнадцати.

Никто не знал, когда наступит его черед. Мы с мамой были уверены, что нам тоже остались дни, может быть – часы.

Обтянутые кожей лица серо-землистого цвета. Как черепа. Врачи говорили, что по губам можно определить, выживет человек или нет. Если совсем серые – не жилец. Цинга. У меня выпали два коренных зуба. Оказалось, что хуже всего переносят голод мужчины. Большинство умерших еще в декабре – мужчины. Слышал о случаях людоедства. Сам видел

только раз: в соседнем дворе лежали обглоданные человеческие берцовые кости. В магазине видел, как вырывают друг у друга “довески” - маленькие кусочки хлеба. Видел, как голод доводил до потери человеческого облика. Но в кругу близких такого не припомню. Скорее – самопожертвование. Помню, нас поразило: бабушка пришла к нам, узнать, живы ли мы. Пришла с Васильевского на Чернышев.

Однообразные дни. Без воды, без света, без тепла. Главное – без еды. Не раздевались ни днем, ни ночью. В пальто. Очереди за пайком - за хлебом, сырым, глинистым. Иногда его привозили только к полудню. А бывало, и на следующий день.

Я рубил топориком мебель для буржуйки. Начал с мелкой, потом дошел до дивана. Но старинный дубовый сервант – не одолел. Сил не хватило. Это его спасло, он и по сей день стоит у меня в гостиной.

\* \* \*

“Теперь, через 50 лет после снятия блокады, часто приходится слышать от переживших ее, как они героически сражались с голодом и холодом, становились донорами из патриотических побуждений, дружно и вдохновенно расчищали разбомбленные дома и улицы, чистили и убирали любимый свой город. Все это верно. Только это полуправда. Героизм, конечно, был. Но его скорее можно отнести ко второму периоду блокады, когда стали более регулярно поступать в магазины и столовые продукты, появилась надежда на близкое снятие блокады, да и на фронтах обозначились реальные успехи Советской Армии. Оставшихся в живых ленинградцев тогда действительно охватило желание скорее восстановить город, создать привычную обстановку прежней своей жизни. В тяжелейший же период – октябрь-декабрь 1941 г. и январь-март 1942 г. - у погибающего от голода и холода населения была одна проблема: выжить и сохранить жизнь своим близким и родным”.<sup>vi</sup> Так писала блокадница В.С. Гарбузова. Это правда.

На что надеялись? Что армии маршала Кулика, генерала Федюнинского возьмут Мгу, Тихвин, прорвут, наконец, кольцо.

К началу марта подвоз продовольствия немного вырос. Чуть прибавили хлебные нормы. Тут же возник черный рынок: можно было обменять какие-то вещи на хлеб, - конечно, нелегально. В нашем доме был продовольственный магазин. Туда ушло много наших вещей. Настенные часы фирмы «винтер», с которыми у меня связано все детство. Статуэтки, считавшиеся ценными....

Но это - лишь крохотные улучшения. Голод продолжался. Люди попрежнему умирали.

Шла эвакуация по “Дороге жизни”, по льду Ладоги. Решиться или нет? Надо ли? И хватит ли сил? Желающих – множество, хотя еще в середине февраля говорили, что эвакуированные могут лишиться права на свою жилплощадь. Но жизнь – дороже жилплощади. К тому же извечная надежда: авось, не отберут.

В марте узнали, что началась принудительная высылка из Ленинграда. Людям присылали повестки: выселяетесь, такого-то числа обязаны быть на Финляндском вокзале. По какому признаку выселяли? Никто ничего не объяснял. Якобы три категории населения: немцев, эстонцев и тех, кого уже раньше ссылали.

Высылать тех, кто и так, может быть, не доживет до завтра! Да, умом Россию не понять! Маминой подруге из соседнего дома прислали такую повестку. Она была русская, Лидия Андреевна, но по мужу – Герцберг. Муж, из давным-давно обрусевших немцев, умер от голода еще в декабре. Она уезжать не стала. Новой повестки не прислали.

Прислали повестку и моему отцу. Снова сослали, дали пожить в Ленинграде всего несколько лет. Потом, в 2000-м, через много лет после его кончины, я запросил его дело в ФСБ. Оказалось, что его высылали «как социально-опасный элемент (сын крупного фабриканта)». Мой дед фабрикантом не был, тем более – крупным. Отец в силу какой-то (не хотелось бы сказать – глупой) законопослушности – подчинился. 19 марта он уехал. И провел много лет в Салехарде – за Воркутой.

Его отъезд подействовал на маму и всех нас. Мы наскоро собрались. Бабушка, мама со мной, ее сестра с сыном и жена ее брата с двумя сыновьями. 25 марта мы на детских саночках повезли свой убогий скарб. Мороз кончился, снег таял. На вокзале каждому дали по миске каши с сарделькой!

Но, чуть отойдя от города, на Ржевке, поезд остановился и простоял там два дня. Когда пойдет – никто не знал. О еде не было и речи. Тела умерших складывали у подножек вагонов, на снегу.

Затем – Борисова Грива. Это ленинградская сторона Ладоги. Потом на полуторке – по Ладоге. Всех накрыли брезентом, наверно, чтоб не пугались зарева боев на южном берегу. Я, естественно, брезент откинул. И увидел зарево – недалеко, южнее – фронт. Грузовик перед нами ушел под лед - попал в воронку. Шоферам было трудно: конец марта.

Поверх льда – вода. “Дорога жизни” по льду – уже на исходе.

Дальше – другой берег, Большая Земля, и путь до Свердловска. 20 дней. На станциях наш поезд обычно отгоняли на самый дальний путь. На ближних – воинские эшелоны, скорые пассажирские. Кормежка – на станциях. За день поезд мог пройти три станции, а мог и сутками стоять среди поля. Да и на станции - попробуй получи свой суп, кашу и чай! С несколькими судками надо было пробраться под другими составами на станцию. Иногда составов пять или шесть. Все время оглядываешься – как бы не ушел твой поезд. Об отправке зачастую не объявляли.

Перед нами шел эшелон с высланными из Ленинграда. Говорили, что это были эстонцы, но кто знает? До Большой Земли они ехали как свободные, а после Ладоги – под конвоем. Получать пищу им было еще труднее, чем нам. Когда наш эшелон приходил на станцию сразу вслед за ними, на перроне, бывало, лежали две горки трупов: в начале поезда и в конце. Иногда их успевали накрыть брезентом, иногда – нет.

У нас мучались от кровавого поноса. И откуда-то сразу появились вши. В Ленинграде их не было. Дважды нас обстреливали немецкие истребители: возле станции Буй и где-то еще, когда мы стояли среди поля. Те, кто мог двигаться, прятались под вагонами.

У меня на руке была ранка с тех пор, как я рубил мебель для буржуйки. В голод она не заживала, а теперь палец загноился и начала опухать кисть. Мама бросилась искать в соседних теплушках – нет ли кого сведущего в медицине. Нашла. Ей сказали, что если гной пойдет по руке вверх – это конец. А поезд уже вторые сутки стоит посреди поля, и неизвестно, когда тронется.

И тут кто-то дал совет: запечь луковицу, приложить к руке, она вытянет гной. Сердобольный сосед пожертвовал луковицу, которую купил на полустанке.

До Свердловска доехали не все. В нашей семье – из четвертых взрослых только двое. Бабушка, Лидия Петровна Макрушина, скончалась в день приезда в Свердловск. Тетя Лиля, Елизавета Дмитриевна Макрушина-Сырейщикова, жена дяди Вали, - еще в поезде.

“Провалы памяти”?

Мама умерла через много лет. От рака. Незадолго до смерти сказала: - “Ты не думай, никакого рака у меня нет. В нашей семье умирают от голода”.

Она имела право сказать: “в нашей семье умирают от голода”. За двадцать лет она пережила голод дважды. В 1921-м – под Самарой, где умерли большинство её родственников. И вот в 1941-м – опять.

Поволжье, через десять лет – Украина, еще через десять – Ленинград. Миллионы умерших от голода. Такого Европа Двадцатого века не знала.

И ведь смогли это замолчать! О гибели миллионов на Украине вспомнили лишь в самые последние годы, когда и очевидцев-то почти не осталось. О голоде в Поволжье помнили многие. Но в печати не очень упоминали. Отчасти и потому, что помогали тогда американцы и англичане. У нас не любят вспоминать, что нас спасали чужие. Тем более – американцы.

А память о ленинградской блокаде? В 1949-м по приказу свыше закрыли Музей обороны Ленинграда. Уничтожили 25 тысяч экспонатов. Руководителей музея репрессировали.

“Ленинградское дело”. Схватка в окружении Сталина: группы Маленкова и Жданова. Многих из тех ленинградских руководителей, кто, так или иначе, был связан с блокадным временем, репрессировали, выслали. Некоторых, как секретаря горкома А.А. Кузнецова, - расстреляли. Так что сбор сведений, может быть, самых ценных – по горячим следам – был приостановлен, почти не начавшись.

Летом 1986-го на советско-американской конференции в Баку я говорил с американским историком и публицистом Гаррисоном Солсбери. Его книга “900 дней. Блокада Ленинграда” вышла в Нью-Йорке в 1969-м и была к тому времени, наверно, лучшей книгой о блокаде. Он был настроен мрачно. Легко понять. Ему было уже семьдесят восемь. Его книгу – дело всей жизни, он работал над ней четверть века, - перевели на многие языки, а надежда на издание в СССР даже не брезжила. Издали ее лишь в 1996-м, когда автора давно не было в живых. Тогда-то мы и смогли прочитать в эпилоге, озаглавленном “Ленинградское дело”:

“Не только закрыли Музей обороны Ленинграда, но и конфисковали его архивы, а директора увезли в Сибирь. И не только художественная литература запрещалась вообще или кромсалась цензурой, прятали, арестовывали официальные документы: например, все документы Ленинградского совета обороны поместили в архивы министерства обороны и ни один советский историк не имел к ним доступа, до сих пор они хранятся под грифом

высшей секретности ... Из памяти была вычеркнута ленинградская эпопея; насколько это физически возможно, создавались “провалы памяти”, как у персонажей Оруэлла, и строительные кирпичики истории – официальные документы, статистика, воспоминания о том, что произошло, - уничтожались или конфисковывались”.<sup>vii</sup>

Конечно, потом появилось немало воспоминаний и исследований о блокадном Ленинграде. Но все же куда меньше, чем заслуживает гибель миллиона ленинградцев и трагедия тех, кто каким-то чудом уцелел.

\* \* \*

Бог ты мой, сколько же раз бессонными ночами я возвращался к тому времени! Как очевидец и участник, а потом – и как историк.

Юрий Афанасьев написал, уже в 2007-м: «Для очень многих вполне порядочных людей остается незыблемым правило: все что угодно обдумывай заново, только не войну и не Победу. Память о погибших - святыни, их трогать никак нельзя». Это было и обо мне тоже.

Но и меня заставляют задуматься те мысли, которые он высказывает: «Нас десятилетиями убеждали, что власть и победа неотделимы друг от друга. В итоге в сознании властей предрежащих утверждается ими же нарисованная схема: сегодня мы правим потому, что Советский Союз одержал победу под руководством советской власти, а мы - ее законные преемники... Война и сталинизм, свобода и насилие слились в одной памяти. Их надо бы как-то развести, но при этом разрывается в клочья все полотно войны и Победы, сотканное из плохо понятой истории. ... Память о войне приобретает все более помпезный характер, а вместе с тем и откровенно националистический смысл. Победа в этом плане - лишь очередное проявление "вечного героизма" русского народа. Победа над нацизмом сводится к освобождению страны от иноземных оккупантов, которые многократно покушались на священную русскую землю. Память о войне лишается, таким образом, глубинного смысла. Ее вклад в формирование коллективной идентичности ограничивается "патриотической" риторикой, затемняющей истинные ценности, во имя которых велась война: свобода и разгром нацизма».

А эпитафией ко всем этим рассуждениям - слова Бунина: «Истина выше России».<sup>viii</sup>

Вряд ли в 1941-1942-м такие мысли приходили в голову. Но сейчас...

## Вдали от любимого города

Приехали мы в Свердловск 13 апреля. В дороге были ровно двадцать дней. Бабушку с поезда увезли в больницу, и она умерла в тот же день. Осталось ее эвакуационное удостоверение с бесчисленными штампами. На каждой станции, где ей (брал-то я, она не ходила) давали баланду, ставился штамп. Это единственное, что у меня осталось от бабушки. Могила – конечно, общая.

Для меня это был первый шок по приезде в Свердловск. Но только первый. Мы ехали к отчиму. Как оказалось, мы были ему совершенно не нужны. Уже восемь месяцев он жил без нас, сначала в Москве, потом в Свердловске. И был уверен, как он сказал на работе, что мы давно умерли.

Мужчины были тогда нарасхват. А тут мама – изможденная и измученная. Не в такую женщину он влюбился до войны!

А еще я. И двое племянников – дети дяди Вали, который был на фронте, и тети Лили, умершей в теплушке. Да мамина сестра Нина. Четверо детей, мал мала меньше – я был старшим. Остальным – семь лет, четыре года и три.

Где жить? Детей дяди Вали отчим отправил в детский дом. Тетю Нину с ребенком – в Акмолинск, там на офицерских курсах учился дядя Витя, другой ее и мамин брат.

Но от нас с мамой деваться было некуда. Как никак - официальная семья, да еще из блокадного Ленинграда. Не бросишь – сослуживцы, партбюро, местком. Так что повез нас к себе.

Отчим жил в гостинице "Большой Урал". В самом центре города, за спиной центрального театра. Самая фешенебельная гостиница Свердловска. Там жили неделями, а то и месяцами, эвакуированные из Москвы высокопоставленные функционеры парт- и госаппарата. Потом им приискивали городские квартиры в соответствии с «табелью о рангах».

В гостинице тоже были свои градации. Самым чиновным - генералы, артисты, кто-то из академиков. - утром, в обед и вечером официанты приносили подносы с деликатесами и крахмальными салфетками в номера...

Каково было видеть все это – после умирающего Ленинграда!

Отчим к этой элите не принадлежал, но двухкомнатный гостиничный номер у него был.

Через много лет я читал воспоминания Локкарта, британского генконсула в России. Буквально за несколько дней до Февральской революции он так обрисовал жизнь в петроградской гостинице "Европейская": «Я нашел атмосферу в Санкт-Петербурге еще более удручающей, чем когда-либо. Шампанское лилось рекой... "Астория" и "Европа", два лучшие столичные отеля, переполнены офицерами, чье место должно бы быть на фронте. Не считалось зазорным быть "уклоняющимися" или искать синекуру в тылу... На улицах же – длинные очереди бедно одетых мужчин и громко возмущающихся женщин, которые ждали хлеба, а его все не подвозили».<sup>ix</sup>

Параллелей проводить не буду. Но вид щеголеватых мужчин и модно одетых женщин в "Большом Урале" был для меня непереносим. В первый же мой выход через вестибюль (я отправился получать в булочную хлеб по карточкам) на моем затылке увидели вошь. Какой шок!

Не хочу перечислять имена обитателей "Большого Урала", хотя многих из них хорошо помню. Назову лишь тех, кто отнесся к нам тогда с теплотой. Это академик геолог Павел Иванович Спепанов и геоморфолог Яков Самойлович Эдельштейн. У них были все привилегии, и по временам что-то от них перепадало и нам с мамой. Но еще важнее было их доброе отношение, столь редкое среди этой светской, чопорной публики в незнакомом для нас городе.

Житье наше в этой роскоши длилось недолго. Отчима отозвали в Москву. Он был крупнейшим в стране знатоком аэрофотосъемки. А аэрофотосъемка в войну была очень нужна.

Нас с мамой, естественно, из гостиницы тут же выселили. И переселили в подвал дома на улице Луначарского. Там мы и жили до отъезда из Свердловска, полтора года.

Дом этот еще не дождался своего бытописателя.

Обитатели – не менее влиятельные, чем в "Большом Урале". Президент Академии наук Комаров, академики Ферсман, Обручев, Волгин. Семьи начальника тыла Советской армии генерала армии Хрулева, маршала Кулика...

Но они – наверху, а мы - в подвале. Подвал разделен деревянными перегородками на несколько узких пеналов. Воздух снаружи туда не поступал: окна - ниже уровня земли, заделаны намертво. Так что приток воздуха – только через входную дверь со двора. Весной подвал заливало водой. Приходилось класть на пол кирпичи, на них доски, и так

передвигаться...

Как жили обитатели дома, я не знал. Ни с ними, ни с ватагой их отпрысков я не общался – ощущал себя "подвальным" и в их компанию не лез.

Из взрослых говорил несколько раз с Обручевым – мне нравилась его "Земля Санникова". Гораздо чаще – с Ферсманом. Сам он жил наверху, а в подвале, в соседнем пенале, жили родители жены его сына. И он нередко заходил к ним и даже не гнушался перебраться со мной несколькими словами. Показал мне немецкую каску – он привез ее с фронта (наверно, при его немецкой фамилии ему надо было особенно выказывать патриотизм). Помню его высказывание: - Память человека – как библиотека. Если все полки уже заставлены, класть больше некуда.

Какое-то время жила там сестра жены Сталина, Анна Сергеевна Аллилуева. Мама с ней сблизилась. И, трудно это представить, она говорила с горечью о Сталине и его отношении к сестре. Призналась, что он ее изнасиловал. Как повернулось тогда сказать такое? Должно быть, наболело. А мама вызывала к себе доверие и характером, и биографией.

В школе я не учился. Пропустил три года – сперва в Ленинграде, потом в Свердловске. У меня была врожденная болезнь почек, в блокаду она обострилась, мучили тяжелые приступы. За два класса – пятый и шестой – сдал в Свердловске экстерном в 1942 и 1943-м - все, вплоть до военного дела. За седьмой – не успел.

Зато ходил в библиотеку Дворца пионеров. Она была на холмике. По одну сторону – наша улица Луначарского, по другую, недалеко, тот Ипатьевский дом, в котором провела последние дни семья Николая II.

Книги читал больше приключенческие. "Всадник без головы". Познакомился со стариком, у которого было старое собрание Фенимора Купера. Прочитал все.

Ходил в кино. "Два бойца" - все восхищались песнями "Темная ночь", "Шаланды, полные кефали". Помню американские фильмы: "Сестра его дворецкого", шуточную "Три мушкетера" - с поварами вместо мушкетеров, и с очень красивой мадам Бонасье.

Зачитывался расклеенными на улицах газетами (где еще можно было прочитать газету в те времена). Всех захватывали статьи Эренбурга. В газете и пьеса Корнейчука "Фронт" – там впервые показано, что полководцы Гражданской войны, с их тогдашними методами, уже не очень годятся сейчас. А польская армия генерала Андерса не хочет

сражаться бок о бок с Советской и уходит от нас к союзникам.

В киосках иногда появлялись даже брошюры с речами Черчилля, газета "Британский союзник", журнал "Америка".

\* \* \*

В Свердловске мама сказала отчиму:

- Вернемся в Ленинград, тогда и бери развод.

Выхода у него не было, его же сотрудники осудят его, если он нас бросит. И в декабре 1943-го он перевез нас в Москву, чтобы мы оттуда смогли вернуться в Ленинград.

И вот – Москва. Для меня – больница за больницей. Никак не могут понять, что же с почками. Наконец, попал в госпиталь на Пироговке. Резал меня Фронштейн, лучший уролог страны (теперь эта больница носит его имя). Но и он поставил окончательный диагноз, лишь когда распахал меня от середины живота до середины спины.

Всаживая мне иглу в спинной мозг (тогда был еще примитивный спинномозговой наркоз) этот старый немец старался отвлечь меня:

- Вы, молодой человек, не переживайте из-за своего имени. У меня была пациентка по имени Венера Аполлоновна.

Наверно, это он тогда придумал.

Операция серьезная. Лежал я в госпитале в мае-июне сорок четвертого. Вокруг – раненые – со всех фронтов. Наслушался я той правды, которой в газетах не сыскать.

Едва встав на ноги, еще в пижамах, раненые бегали тайком от врачей на Девичье поле, рядом с Пироговкой – очень уж изголодались по женщинам.

Настроение у всех было приподнятое. В эти самые дни американцы и англичане высадились в Нормандии, открыли второй фронт.

Как только до этого ни поносили союзников! «Начерчили, начерчили, а результатов-то нет как нет». Проклинали союзников за то, что ведем войну с немцами один на один. Никто как-то не вспоминал, что с мая сорокового до июня сорок первого Англия тоже билась с немцами один на один. Маленькие острова, а над ними навис континент, уже завоеванный Гитлером! Да и о лендлизе у нас мало упоминали, а это ведь сотни тысяч танков, автомашин, самолетов, оборудование, медикаменты, продовольствие! На наших улицах полно студебеккеров, виллисес. А уж о войне с Японией, где гибли миллионы людей – много ли мы об этом слышали? Не говоря уж об "африканской лисе", Роммеле, дошедшем

до Египта. Говорили только о своей боли. Ну, что ж, естественно.

С открытием второго фронта отношение к союзникам сразу стало лучше. Школьники распевали песню об английском моряке:

На эсминце капитан, Джеймс Кеннеди,  
Гордость флота англичан, Джеймс Кеннеди,  
Не в тебя ли влюблены, Джеймс Кеннеди,  
Шепчут девушки страны, Джимми, Джимми:

Но главным в песне было, конечно:

В СССР везти друзьям, Джеймс Кеннеди,  
...  
И британский офицер, Джеймс Кеннеди,  
Носит орден СССР, Джеймс Кеннеди.

Еще больше ребята любили песню об американских солдатах. Идет он на войну, но старается шутить:

Будь здорова, дорогая,  
Я надолго уезжаю  
И когда вернусь, не знаю.  
А пока – прощай!

...После операции надо было еще долго отлеживаться. Ведь не было ни нужных медикаментов, ни приличной еды. А маме как раз дали, наконец, пропуск в Ленинград, вписали туда и меня - как несовершеннолетнего. Но срок действия пропуска – очень короткий. Упустить нельзя – пропуск получить было сложно. Так что маме пришлось уехать. А мне - мне остаться с отчимом.

\* \* \*

Впервые пошел в школу, после трехлетнего перерыва. Школа была, мягко говоря, особая. Военская часть отдала часть своего здания под школу тут же, на Смоленском бульваре, во дворе дома, что стоял против нас. Школы Фрунзенского района были переполнены и Районо предложило их разгрузить, передав лишних учеников в эту новую школу.

Кого передавали? Конечно же, не лучших. Двоечников, хулиганье.

Директором школы назначили бывшего управляющего исправдомом.

Старшие классы учились во вторую смену, с часу дня. Перед занятиями – линейка. Директор объявляет:

- Вы такого-то знали? Больше не увидите. Сидит за хулиганство.

Из нашего седьмого класса "вчистую" перешло в восьмой из двадцати четырех учеников только шестеро. Остальные – на второй год, или с переэкзаменовками.

Процветал культ физической силы. Парень из нашего класса, Михеев, подрался с восьмиклассником. Наш сказал, что за ним – Кропоткинская, тот – что улица Веснина. Наш сработал раньше. Привел в школу человек двенадцать уличной шпаны, постарше нас. Они не то, чтобы избивали восьмиклассников, а так, смажут по морде, плюнут, - чтобы унижить, поиздеваться. Выскочил директор. Его кто-то ткнул палкой в грудь:

- У тебя есть кабинет, вот и сиди!

Провод телефона перерезали.

Директор ничего так и не сделал – побоялся.

Каково было мне? Выглядел не так. Имя – одни насмешки. Уж не говоря о фамилии...

В первые же дни решили сделать мне "облом". Несколько ребят о чем-то со мной заговорили, как бы между прочим. А один присел за моей спиной, пригнувшись. Кто-то должен был толкнуть или ударить меня в грудь, я бы перелетел через того, кто сзади. Ну и началась бы потеха. Не то, чтобы они хотели до смерти меня избить, но потешились бы всласть. К счастью, один из ребят, мы с ним как-то понравились друг другу, показал мне глазами на того, кто был за спиной. И когда меня толкнули, я, прости меня Господи, ударил ногой назад, да так, что тот парень взвыл от боли. Больше со мной не «заигрывали».

Другой случай. В классе учились двое ребят: сын генерала и сын полковника. Как они туда попали? Наверно, жили в доме перед школой - это был дом НКВД. Они были хуже хулиганья - изворотливей, хитрей, подлей.

Как-то я упомянул о ленинградской блокаде, и красивый блондин, сын генерала сказал: - Да был я в вашем Ленинграде. Мы там с отцом много хороших вещей накупили.

Может, он врал. Но у меня в глазах потемнело. На учительском столе лежала большая тряпка – стирать мел с доски. Я стал бить его по морде этой тряпкой – изо всех сил. Класс смотрел и ничего не делал. Кажется, они были на моей стороне. Приоткрылась дверь, хотела войти наша математичка Александра Александровна. Но тут же захлопнула дверь. Через много лет, когда я приехав в Москву, зашел в школу, она напомнила мне об этом эпизоде, улыбаясь.

Без драк не обходилось. Не раз доставалось и мне. Немного помогало, что я был старше большинства – на год, и повыше многих. Да и друзья появились.

Директор скоро меня выделил. В школе не было ни одного комсомольца, опереться ему было не на кого. И он назначил меня старостой класса. Но его надежд я не оправдал, и сразу же.

Он вел у нас уроки конституции. Они были последними, уже совсем под вечер. И вот он как-то сказал, что проведет сдвоенный урок, пятый и шестой. Никому это не понравилось, тем более, что его не любили за грубость, а то и прямое хамство.

Стали обсуждать. Оставаться не хотелось никому, но я сказал первым:

- Уйдем да и всё!

И ушли. Никого не осталось.

Директор просто взбесился. То ли кто-то ему донес, то ли он сам догадался, но на следующей линейке объявил, что я исключен из школы.

Не могу сказать, что я сильно огорчился. Учился я неважно, но все-таки был не среди худших. Возьмут куда-нибудь.

Но случилось то, чего я не ждал. Класс перестал ходить в школу. Дело было, конечно, не только во мне. Не все меня так уж любили. Но вот директора ненавидели все – и оказался повод это выразить. Да и солидарность у этих шпанистых ребят была.

Неделю-полторы бойкотировали занятия. Собирались в моем дворе – почти напротив школы, или у меня дома. А то и просто не ходили. Пришлось директору приказ отменить.

Но даром мне это не прошло. Перед экзаменационной сессией он меня вызвал.

- Ты, сволочь, думаешь, я тебя в твой Ленинград просто так отпущу? Получишь две переэкзаменовки. Какие хочешь – выбирай.

Я выбрал химию и физику.

\* \* \*

Отчим ездил по командировкам. Я жил с собакой – английским сеттером по кличке Кибиз. Отчим оставлял мне пропуск в Дом ученых. Там в столовой мне давали обед. А еще, отчасти, объедал пса. Он считался чемпионом: диплом первой степени за чутье и медаль за экстерьер. Таким псам даже в войну было положено двенадцать килограмм крупы в месяц. Легко представить, что это была за крупа – мусор. Но все же бывало, ели мы ее вдвоем: он из миски на полу, я из тарелки – на столе.

По ночам температура в комнате зимой – восемь градусов. Я спал на кровати в

спальном мешке. Как только я укладывался, Кибиз клал лапу на кровать. Если я не возражал – вторую. Если я и тут не сопротивлялся, прыгал на кровать. Потом – то же самое со спальным мешком, пока я не позволял ему залезть туда и устроиться у меня в ногах. Тогда он всю ночь меня не будил. А не разрешишь – будет скулить.

Конечно, с его шерстью восемь градусов ему были не страшны. Но в мешке-то уютней. И мне – теплее. Да и любил я его.

\* \* \*

Последние месяцы в Москве были праздничными. Победа! 9 мая я побежал на Манежную площадь. Там – не протолкнуться. Запомнился эпизод. У дома американского посольства - оно было тогда на Манежной – народ стал перекликаться с американцами. В порыве общего подъема чувства молодые дипломаты с балкона стали бросать в толпу сигареты. И... началась давка. Чем-то это стало непристойно. На балкон вышел кто-то из старших дипломатов и остановил молодежь.

Участвовал я и в той демонстрации, которая должна была пройти 24 июля, вслед за Парадом победы. Колонна шла от Института географии, где работал отчим. Нам всем даже дали по бумажному кульку ягод – неслыханная роскошь по тем временам. Но начался дождь. Народ разошелся по подворотням. Долго ждали. Потом объявили, что демонстрация отменяется.

Как удалось вернуться в Ленинград?

Отчим, повторяю, в основном – по командировкам. Пока отчима не было, меня одолевали его возлюбленные. Я говорил, что его нет, но они заходили, садились, старались меня разговорить. Цель была одна: выпытать, правда ли, что он разводится с моей мамой.

Одна из них и добилась для меня пропуска в Ленинград. Дело это было трудное, даже отчиму не удавалось. Но у нее были связи. Так в июле 1945-го я уехал, наконец, домой, в родной Ленинград.

Провожать меня пришли одноклассники, с кем успел сдружиться. Последний разговор - по душам. Помню, двое татар – их отцы погибли на фронте, только и могли говорить о речи Сталина 24 мая. Он горячо поблагодарил русский народ, как победителя над фашизмом, но ни словом ни обмолвился ни об одном другом народе страны. «А наши отцы, значит, не воевали?».

Это было последнее при расставании с Москвой.

## **Вернулся в мой город, знакомый до слез**

Да простят меня почитатели Мандельштама, что начинаю с его слов. Просто лучше не скажешь.

Вернулся я туда же, где жил накануне войны – на Чернышев переулок, он продолжал Разъезжую по другую сторону Пяти углов.

Восемьдесят лет назад и Мандельштам бывал у Пяти углов, на Разъезжей, которая там начиналась. Там ведь была когда-то редакция журнала "Аполлон", где он сотрудничал с Гумилевым, Ахматовой, Маковским - всеми, кто жил этим журналом, законодателем вкусов элиты литературы и живописи. Все эти улицы и переулки исхожены их ногами.

Как я мог не вспомнить об этом, вернувшись в те самые места.

Стихи Мандельштама я уже знал, хотя они были под запретом:

У меня еще есть адреса,  
По которым найду мертвецов голоса.

Оба моих двоюродных брата со стороны отца погибли на фронте, как и единственный родной брат отца. Дядя Валя, в чьей квартире мы начинали блокадную жизнь, пропал без вести. Правда, еще один мамин брат, дядя Витя, жив, дошел до Будапешта и Вены. О скольких родственниках нет вестей...

Из одноклассников - мальчишек, встретил только двух. Девочек, правда, осталось больше.

Все три сына семьи Набоковых воевали. Живы.

В нашей коммунальной квартире уже нет украинки с ее детьми "персюками". Умерли от голода.

В первые же дни получал паспорт: 1 сентября 45-го исполнилось шестнадцать. Меня спросили: - С отцом не живете? Не хотите взять фамилию мамы?

Иными словами - русскую фамилию. Да и отец в письмах советовал мне то же. Но как я мог? Отказаться от отца, когда он в беде. Получилось бы, что предаю его. Да и вообще, с чем появился на свет – с тем и живи. Это я решил тогда на всю жизнь.

В старую школу приняли сразу. Два экзамена, которые московский директор не разрешил мне сдать, тоже сдал сразу. Поступил в восьмой класс. Школа осталась такой же, только великолепный актовый зал в плохом состоянии – бомбы падали рядом. И парадная дверь закрыта, вход – со двора.

Школа считалась одной из лучших в городе. Общая атмосфера – совсем иная, чем в московской. Нет культа силы, кулака. Уважают ум, образованность. Большинство школьников – из интеллигентных семей. Учителя – прежние (те, кто выжил). Работали тут годами. Во всем – традиции.

Пришлось мне перестраиваться, меньше бездельничать, чем в Москве. Хотя и тут меня интересовало больше то, что было за пределами обязательных школьных программ.

Сразу по приезде вступил в комсомол. Почти все старшеклассники уже были комсомольцами.

Вскоре заговорило, должно быть, молодое честолюбие, желание проявить себя. Секретарем комсомольского бюро у нас был действительно яркий парень. Не то, чтобы уж очень хорош собой, но умел держаться. Была харизма. Девочки из соседней женской школы восхищались им. Это меня и раззадорило.

На следующем же комсомольском собрании меня выбрали в бюро, стал замсекретаря. А вскоре стали создавать учкомы, и меня выбрали еще и председателем учкома школы. И так – два года, в восьмом и девятом классе. В этом было и что-то интересное. Перезнакомился с учениками всех старших классов.

Учился сносно. Троек не было. На медаль не собирался идти – для этого надо было много зубрить. Лучше читать – что я и делал. А в университет, по самоуверенности, считал - и так поступлю.

Класс был на редкость дружный. Перед окончанием завели записные книжки и записывали в них пожелания друг другу. Свою книжку я храню.

\* \* \*

Знакомились с девушками из женских школ. Ходили на танцы в Дом пионера и школьника, во Дворец пионеров, на школьные вечера. Танцевали не бальные танцы, что насильно внедрялись еще во время войны, а танго, фокстрот. Кто умел – вальс-бостон. Одно время появился, но быстро исчез танец "линда".

Новых танцевальных пластинок почти не было. Остались лишь те, что были в конце тридцатых. "Брызги шампанского", "Дождь идет". Нередко под непонятным названием: "Принцессита", "Эскамиль".

Пели:

Мы живем на свете мало, мало,

И всегда чего-то ждем...

Очень любили запрещенного Петра Лещенко. Пластинок, конечно, не было, но откуда-то появлялись записи на рентгеновских снимках.

И новых певцов. Очень популярен был Юрий Хочинский.

Вот солдаты идут,  
По степи опаленной,  
Тихо песни поют  
Про берёзки да клёны.

Густой, берущий в душу голос. Вскоре он, говорили, покончил с собой. Я потом хорошо знал его родного брата, Володю Хочинского, юриста. Он учился на курс или два старше меня. Стал потом известным автором афоризмов. Но деликатных вопросов о судьбе брата ему так и не задал.

В оперетте – богатый репертуар. Великолепно танцует Пельцер, хоть говорят, ей – шестой десяток.

Джаз не под запретом. Царствуют Эдди Рознер с неизменным Лаци Олахом. Цфасман.

Кумир Ленинграда – Аркадий Райкин. Как только ни поносили его в газетах – и заменяет-то он всю труппу, и сделал театр одного актера. А на его концерты народ ломится. Я с друзьями был там вечером под Новый год – достали билеты только на 31 декабря, 1945-го.

Выступает Вертинский. Мы удивлялись, почему ему, может быть, единственному из вернувшихся тогда, дали насладиться прежней славой. Правда, на самые престижные площадки его все-таки не пускали. Выступал по домам культуры, там я его и слушал. С каким поклонением смотрели на него пожилые женщины!

Даже "Обыкновенный концерт" Образцова (потом его переименовали в "Необыкновенный концерт" - а соль-то и была в том, что Образцов издевался именно над вполне обыкновенными пошловатыми концертами) – и он рождался в те времена. С прекрасными песнями и репликами Зиновия Гердта.

В общем это время, первый год после войны, стало некоторым всплеском культуры. Меньше, чем при НЭПе, но все же.

Жили надеждами. Мужчины вернутся с войны. Инвалидов - подлечат. Карточки отменят. Разрушенные дома починят. Может, даже колхозы распустят.

А пока что - безотцовщина, нищета. Школьникам, тем, кто плохо одет и выглядит победнее, давали в школе "усиленное дополнительное питание" - кусочек хлеба с сахаром или что-то равнозначное. От голода это не спасало...

Один за другим возвращались младшие Набоковы. Старший из них привез трофейный финский велосипед. На руле у него был ручной пулемет. Пулемет сняли, и разрешили мне ездить, когда захочу. Летом 1946-го, в белые ночи, благо транспорт ночью не ходил, я объездил весь город, не мог налюбоваться.

### Первая профессия

Как только мы вернулись в Ленинград, мама развелась с отчимом. Больше мы с ним не встречались. Жилось, конечно, туго. Голодно. Мама работала секретарем-делопроизводителем в Военно-медицинской Академии. Представьте ее зарплату. А тогда (мало кто это помнит теперь) за учебу в школе, начиная с восьмого класса, надо было платить.

Я старался подрабатывать. В той же Военно-медицинской Академии на кафедре медицинской статистики собирал и сортировал справки об убитых и раненых на Ленинградском фронте. Домой приходил замертво: читать изо дня в день справки о ранах, мучениях, смертях... Не выдержал. Ушел.

Освоил работу переплетчика. Переплетал сперва книги из библиотек медицинской профессуры. Потом стал получать заказы и от государственных организаций. В Пищепромпроекте, на Литейном, меня даже взяли в штат. Переплетал планы восстановления и реконструкции разрушенных предприятий. Чем-то понравился - молодой был. Да и переплетал старательно. И предложили заведовать мастерской. Правда, не такая уж важная должность. Мастерская только создавалась, выделили две ставки: заведующего и уборщицы. Меня это очень соблазнило: жизнь-то нищенская, а тут заработок. Думал перейти в школу рабочей молодежи или вообще бросить школу, хотя бы на год. Но мама встала насмерть: нужно образование, нужен университет.

Так что не получилось. Долго потом жалел. Хороший шанс был. Не зависеть от перипетий политики. Не считаться "бойцом идеологического фронта". Переплетай, и всё. И сам можешь выбирать книги – что поинтересней.

## С книголюбам

Переплетал я больше дома. Вечерами, в выходные дни, в школьные каникулы. Бывало, конечно, обидно. Одноклассники могли отдохнуть, съездить за город, заняться иностранными языками.

Но переплетное дело дало мне возможность видеть интересных людей. Все тогда жили небогато, и уж если кто-то решал переплестать свои книги, значит он их очень любил.

Первых заказчиков привела мама – из Военно-Медицинской Академии. А те потом – своих друзей и знакомых. Старая питерская интеллигенция.

А книги! Я их читал, конечно, в ущерб школьным урокам. Пропускал многое, что "проходили", зато узнавал что-то совсем иное. Наша историчка упрекала меня: - Вы все время живете старыми запасами.

А какие могли быть старые запасы у восьмиклассника? Просто я читал то, что переплетал.

Интересные были книги! Вот хотя бы "Сборники либретто для пластинок". Издавало общество "Граммофон". Кто знает теперь эти сборники? А они фантастически любопытны. Там печатались тексты всех граммофонных записей: от оперных арий до "еврейских" и "армянских" анекдотов.

Историей повседневной жизни ученые тогда не занимались – их призывали изучать классовую борьбу, революции. Это теперь повседневная жизнь прошлого стала не просто привлекательной, а даже модной темой. Эти либретто для граммофона наверняка помогают понять культуру предреволюционной России.

А бесчисленные выпуски под названием "Чтец-декламатор"? Ведь по ним когда-то выступали и профессиональные артисты и любители!

А сборники романсов? Признаюсь, они меня привлекали больше всего. Вкус к романсам мама привила мне с детства. Пела она хорошо – до войны. Блокада, голод, тогдашние ужасы подорвали не только ее здоровье, но и голос.

"Калитку" я помню со всеми мамиными интонациями. И читая сборники романсов, слышал не Вяльцеву или Плевицкую, хотя и знал их по пластинкам, а ее голос.

Книголюбы приносили мне дорогие им книги, зачастую сильно потрепанные. Порой приходило сразу несколько человек. И начинались споры. Вот бы записать их тогда! Зачинщиком обычно был Лев Семенович Каминский, старый профессор, заведующий

кафедрой статистики Военно-Медицинской Академии.

У него в руках я впервые увидел русские книги, издававшиеся после войны в Германии – в счет немецких репараций. Теперь об этих книгах мало кто помнит. Скромно, но очень аккуратно изданные. Тиражи небольшие, так что в обычных книжных магазинах их не купишь – разве что в закрытых ларьках, или на партийных и научных конференциях.

Но споры возникали, конечно, не из-за этих книг. Да и вообще не из-за того, что издавалось в СССР в послевоенные годы погромов культуры, которые вошли в историю как ждановщина.

Говорили о том, что считали настоящей литературой. И о том, что ее запрещали – и не только в советские, но и в "царские" времена. Тут я узнал много совсем нового. О запрете на "Что делать?" или "Горе от ума" нам рассказывали и в школе. Но что "Свои люди, сочтемся" Островского вызвали недовольство не только московского купечества и цензуры, а и самого императора – не подозревал. Совсем уж удивился, узнав, что когда-то, еще в 1850-х, запретили печатать "Конька-горбунка".

Чего только я тогда не наслушался! Оказывается, в советское время запрещали "Крокодил" Чуковского. Что с давних времен запрещали "Гаврилиаду", и Пушкину приходилось отречься от авторства – понять можно. А вот что "Записки императрицы Екатерины II" держали под спудом и ее внук Николай I и правнук Александр III, и только с герценовского "Колокола" Россия о них узнала – для меня это было откровением. И что Достоевский присоединился к обвинениям Чаадаева за его "Философические письма" – тоже.

Попросили меня как-то переплести и уникальное издание сатириконовской "Всемирной истории", кажется 1917 или 1918 года. Там история Руси озаглавлена: "при варягах и ворягах". Я уже тогда любил Аверченко и Тэффи.

\* \* \*

Поначалу мне приносили только книги, изданные в "царское время". И мне казалось, что только тогда, до 1917-го, и выпускали что-то по-настоящему стоящее. Но потом стали приносить и книги 1920-х. Среди них не было роскошно изданных, в муаровых переплетах, с золотым обрезом, с иллюстрациями на слоновой бумаге. Но интересного – немало.

Романы Джека Лондона, Голсуорси, Вудхауза. Гамсуна, Уэллса, Эптона Синклера. "На Западном фронте без перемен" Ремарка. Журналы "Вокруг света", "Огонек". Даже

тоненькие книжечки библиотеки журнала "Бегемот" и "Библиотеки сатиры и юмора" издательства "Земля и фабрика". Рассказы Аркадия Аверченко выходили большими тиражами, хотя он – не только эмигрант, но и известен как враг советского строя. Его "Тринадцать ножей в спину революции" издали – поразительно! - с ведома Ленина.

Или вот небольшая книжка "Русские цари в эпиграммах". Не эпиграммы советского времени, а те, что вышли из-под пера Пушкина, Рылеева, Вяземского, Полежаева... Сейчас бы даже странно читать их: в постсоветское время неомонархисты произносят с придыханием: "Государь соизволил", "Его Императорское Величество", "Августейшие особы". У Пушкина такого пиетета нет...

В двадцатых годах, до того, как Сталин вполне укрепился у власти, при самых худых отношениях с Западом умудрялись переводить западные книги, в том числе и только что изданные.

Даже какие-то вроде бы совсем уж неожиданные.

#### Прописные истины

Одна из таких книжек настолько меня увлекла, что хозяин мне ее подарил. Называется она "Папалаги. Речи тихоокеанского вождя Туйавии из Тиавеи". - Петербург-Москва: Государственное издательство, 1923. В ней даны представления тихоокеанских аборигенов о белом человеке. Называют они его: Папалаги.

Что в нем интересно? Перед этим мне принесли "Лексикон прописных истин" Гюстава Флобера. "Лексикон" был переведен на русский язык лишь через полвека после смерти Флобера – должно быть, не считали эту книгу особенно важной. А меня она сразу заинтересовала. Там собраны расхожие мнения о событиях, странах, людях – всё, о чем говорили во Франции во времена Флобера.

Флобер дал два прямо противоречащих друг другу эпиграфа. Один (назвал его – народная мудрость): «Глас народа – глас Божий». Второй – французского писателя Николя Шамфора: «Не подлежит сомнению, что всякая общая мысль, всякая общепризнанная условность - бессмыслица, ибо они - достояние большинства».

Что-то из «Лексикона» перекликается с некоторыми из мнений, бытующих у нас сегодня. Например: «Эпоха (современная). - Ругать. Жаловаться на отсутствие в ней поэзии».

Но больше всего меня заинтересовало, что же думали парижане о других странах и народах. Таких высказываний в лексиконе мало. Думали не о чужих, а о себе, о жизни в своей стране. Но все же.

«Англичане. - Все богаты».

«Итальянцы. - Все – музыканты и предатели».

«Эмигранты. - Зарабатывали на жизнь уроками игры на гитаре и приготовлением салата».

«Негры. - Удивляться, что у них белая слюна и что они говорят по-французски».

«Негритянки. - Более пылки, чем белые женщины».

«Коран. - Книга Магомета, в которой говорится исключительно о женщинах».

«Гайдук. - Думать, что это – евнух».

«Визирь. - Трепещет при виде веревки».

«Баядерки. - Все восточные женщины – баядерки».

Прочитал и подумал: а как же высказывались о белом человеке те, кого называли «туземцами»?

Тут-то как раз и попались мне суждения тихоокеанского вождя.

«Папалаги ... более всего любит то, чего нельзя схватить, но что, все-таки, существует - время. Он поднимает из-за этого большую возню и много глупых разговоров. Хотя его никогда не может быть больше, чем влезает между восходом и закатом, ему, все же, всегда недостает его».

«Так как всякий Папалаги одержим страхом за свое время, то он (и не только каждый мужчина, но и каждая женщина, каждый малый ребенок) доподлинно знает, сколько солнечных и лунных восходов протекло с того времени, когда он сам впервые увидел Великий Свет. ... "Сколько тебе лет", это значит: "сколько месяцев ты жил". Это подсчитывание и распытывание полно опасности, ибо таким образом узнали, сколько месяцев продолжается жизнь большинства людей. Всякий только точно следит и, когда пройдет порядочное число месяцев, он говорит: "Теперь я скоро умру". Он больше не знает радости и, действительно, скоро умирает».

Названия глав в этой книжке: «О прикрытии плоти у Папалаги, о многих набедренниках его и циночках. О каменных ларях, каменных скважинах, каменных островах и о том, что между ними. О круглом металле и тяжелой бумаге. Множество вещей

делает Папалаги бедным. У Папалаги нет времени. Папалаги сделал бога бедным. Великий дух сильнее, чем машина. О профессиях Папалаги и как он в них запутывается. О месте поддельной жизни и о многих бумагах. Тяжкая болезнь думания. Папалаги хочет вовлечь нас в свои потемки».

Я так и не знаю, всё ли в этой книжке придумано такими же белыми, как мы, - чтобы посмеяться над собой, или все-таки что-то и вправду взято из восприятия «туземцев». Знаю только, что она пробудила у меня интерес к тому, какими же действительно жители далеких стран видят нас, европейцев, белых, или как писал в своих романах Фенимор Купер "бледнолицых".

Через много лет, став африканистом, я не раз вспоминал эту книжку.

### Мой Дюма

Радостью для меня было, когда приносили переплетать томики Дюма, любимого автора ранних детских лет. Да ведь и потом - как долго его любили! В 1943-м до нашей страны дошел американский фильм о мушкетерах, где д'Артаньяна играл известный актер Дон-Амече. Фильм шутливый, смешной. Успех баснословный. И взрослым, и детям хотелось хоть на полтора часа отвлечься от тягот лихого времени войны.

В позднесталинское время добрых слов о Дюма в печати не было. Правда, Вера Панова в своей "Кружилихе" написала: «У Тольки сегодня большой день: пришла его очередь на "Графа Монте-Кристо"» (не купить, конечно, - это было невозможно, - а прочитать). Но такое могло быть в повести, да и то вскользь. А в литературной критике, во всем, претендующем на научный подход - нет, не вписывался Дюма в традиции социалистического реализма, хотя даже Карл Маркс читал его не без удовольствия.

А в 1947-м в Ленинградском университете была защищена диссертация: "К вопросу о кризисе буржуазно-исторического романа во Франции в 1830-40 годах. Романы А. Дюма". Потом ее опубликовали. Так что романы Дюма - это кризис.

В старых журналах, которые мне приносили, я выискивал все, что связано с Дюма. В журнале "Москва" о нем писали еще в 1834-м. Да какие только журналы и газеты не спорили о нем! Какие только статьи ни появлялись, вплоть до "Животно-магнетический сеанс у господина Дюма".

Журнал "Нива" посвящал своих читателей в секреты мудрости жизни Александра

Дюма. «Гуляй ежедневно два часа и спи ночью семь часов. Проснувшись утром, вставай немедленно. Говори только тогда, когда это необходимо, и высказывай только половину того, что думаешь. Не пиши того, чего не можешь подписать. О деньгах не думай ни очень высоко, ни очень низко, потому что деньги очень хороший слуга, но худой хозяин».

Спектакль "Три мушкетера" ставили на сцене Петербургского детского ледового театра. К 120-летию со дня рождения Дюма, в 1922-м, Луначарский опубликовал в петроградской "Красной Ниве" очерк "Александр Дюма как директор театра"...

С какими только сферами жизни ни связывали его творчество! Заинтересовавшись когда-то, я следил за Дюма-ведением и потом. Вот хотя бы названия статей: "Этическая логика событий в романах А. Дюма". "Концепция Провидения в творчестве А. Дюма". "Александр Дюма о декабристах". "Быт в творчестве Александра Дюма". "Особенности психологического мастерства А. Дюма". "А. Дюма о революции как народной трагедии". "Александр Дюма и воспитательная работа с подростками". "Использование творчества А. Дюма и Ж. Верна в личностно ориентированной психотерапии подростков". "Роль юмора и формы его проявления в произведениях А. Дюма". "Юмор и ирония в произведениях Дюма". "Картинная галерея Дюма-отца". Дюма-отцу посвящены очерки "Романтика подвига и дружбы", "Искусство вечно изумлять" и даже "Французская кухня".

\* \* \*

А как Дюма относился к нам, к нашей стране? России посвящен один из его ранних романов, в 1840-м. "Учитель фехтования". Сюжет - судьба декабриста Ивана Анненкова и его жены, француженки. Это первый в мировой литературе роман о декабристах.

О поездке в Россию Дюма мечтал много лет. Но при Николае I об этом не могло быть и речи - "Учитель фехтования" был запрещен самим императором (издан по-русски только в 1925-м, в связи со столетием восстания декабристов). Но при Александре II путешествие состоялось. Да еще какое! Почти девять месяцев! Приехал 22 июня 1858-го. Был в Петербурге. Затем - Москва, Рыбинск, Кострома, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Камышин, Астрахань, Кизляр, казачьи станицы Северного Кавказа, аулы Дагестана, Дербент, Баку, Тифлис, Кутаиси, Поти.

Сколько же повидал Дюма! Сколько людей встретил. Даже моего любимого поэта - Алексея Константиновича Толстого. Разве что с Шамилем не удалось поговорить, хотя Дюма очень этого хотел. Услышанного и увиденного хватило потом на несколько книг.

Переводил на французский стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова..., русские повести, рассказы. Подробнейшим образом описал смерть Пушкина. Чего только ни узнать!

Но вот чего он не увидел и так никогда и не узнал.

Это подборка документов с грифом "Секретно": "Об учреждении надзора за Александром Дюма".

Документов много. Вот например:

«18 июля 1858 г. Г. Начальнику 2-го Округа Корпуса Жандармов.

Известный Французский писатель Александр Дюма (отец), прибыл в недавнем времени из Парижа в С. Петербург, намерен посетить и внутренние губернии России, для каковой цели собирается в Москву. Уведомляя о сем Ваше Превосходительство, предлагаю Вам, во время пребывания Александра Дюма в Москве, приказать учредить за действиями его секретное наблюдение и то, что замечено будет, донести мне в свое время. Генерал-Адъютант, подполковник Князь Долгоруков».

А вот отчет. Сентябрь 1858 г. Секретно. От Начальника 2-го Округа Корпуса Жандармов. Москва.

«О Французском писателе Дюма.

Во исполнение секретного предписания Вашего Сиятельства я имею честь донести, что французский писатель Дюма (отец), с приезда своего в Москву, в июле месяце сего года жил у г. г. Нарышкиных, - знакомых ему по жизни их в Париже; многие почитатели литературного таланта Дюма и литераторы здешние искали его знакомства и были представлены ему 25 июля на публичном гулянье в Саду Эльдорадо, литератором Князем Когушевым, Князем Владимиром Голицыным и Лихаревым, которые постоянно находились при Дюма в тот вечер; 27-го же Июля в означенном саду в честь Дюма устроен был праздник, названный ночь Графа Монте-Кристо. Сад был прекрасно иллюминирован и транспарантный вензель А. Д. украшен гирляндами и лавровым венком. В тот день в честь Дюма Князь Голицын давал обед, и оттуда прямо Дюма приехал на праздник в Эльдорадо; в этот вечер с ним были двое Нарышкиных, живописец Моне и М-м Вильне, сестра бывшего в Москве французского актера, которая, как говорят, постоянно путешествует вместе с Дюма.

В Москве Дюма посещал все достопримечательности и ездил в предместья Москвы... В семействе Нарышкиных, где жил Дюма, его очень хвалят, как человека

уживчивого, без претензий и приятного собеседника. Он имеет страсть готовить сам на кухне кушанья, и, говорят, мастер этого дела. Многие, признавая в нем литературные достоинства, понимают его за человека пустого и потому избегали или сдерживались при разговорах с ним, опасаясь, что он выставит их в записках и будет передавать слышанное от них вопреки истине.

7-го сего Сентября Дюма выехал из Москвы с семейством Д.П. Нарышкина в имение его Владимирской Губернии Переяславль-Залеского уезда Село Елпатьево, где, как говорят, намерен пробыть дней 15-ть, а оттуда вместе с живописцем Моне намерен отправиться в Нижний Новгород.

Владимирскому и Нижегородскому Штаб офицерам Корпуса жандармов сообщено о сем для зависящего с их стороны распоряжения как секретному наблюдению за Дюма.

Генерал-Лейтенант (подпись)».

И так по всему пути следования. От штабов Корпуса жандармов. Из Казани, Астрахани...

Документы об этой слежке хранятся в Москве, на Пироговке, в Государственном архиве Российской Федерации. Их опубликовал историк и литературовед Сергей Николаевич Дурылин в 1937-м. А я узнал об этом, когда переплетал книгу с его статьей.

По романам Дюма миллионы и миллионы читателей во множестве стран представляли себе важнейшие исторические события, быт и нравы нескольких эпох. Что бы мы ни читали в школьных учебниках о Кардиналах Ришелье и Мазарини, их образы создал у нас все-таки Дюма.

Его влияние на массовые представления признавали уже в середине его жизни, сразу после бешеного успеха "Мушкетеров". Есть поразительно яркое тому свидетельство.

1846 год. Франция стремится к расширению своей империи. Лишь недавно завоеван Алжир. Надо было привлечь французов к его колонизации, к переселению в этот благодатный край. Французский министр просвещения граф Сальванди обратился к писателю Ксавье Мармье:

- Как жаль, что об Алжире так мало знают! Но как его популяризировать?

- А знаете, господин министр, что я сделал бы, будь на вашем месте? Я постарался бы каким-нибудь образом устроить так, чтобы Дюма проделал то же путешествие, что и мы, и написал об этом два-три тома путевых записок... Их прочтут три миллиона человек,

а пятьдесят-шестьдесят тысяч из них, возможно, всерьез заинтересуются Алжиром.

Александра Дюма не просто попросили. Для путешествия - не только в Алжир, но и в Тунис и Танжер - ему дали военный корабль. И он написал несколько книг. Вскоре они появились и на русском языке.

Дюма не только рассказывает о встречах и впечатлениях, но и обобщает - и свои представления, и представления, бытовавшие тогда во Франции. Особенно интересно - о различиях между французами и арабами. Есть и парадоксы. Почти как в «Папалагах»: «Чем более у Араба жен, тем он богаче. Напротив, Француза часто разоряет и одна жена». О чем-то - серьезнее.

Жаль, что такого сравнения французов и русских у Дюма нет. Какие бы ни были представления и предрассудки прошлого, их надо знать независимо от того, нравятся они нам или нет.

Что же на самом деле говорил Ленин

Переплетная работа показала мне, что делает цензура, даже с самыми знаменитыми авторами.

В школе мы тогда "проходили" воспоминания Горького о Ленине. Именно из этих мемуаров вошли в "лениниану" слова Ленина о Льве Толстом: «Какая глыба, а? Какой матерый человечище... До этого графа – подлинного мужика в литературе не было». И характеристика Горьким Ленина: "Прост как правда". И многое другое, что стало потом хрестоматийным.

Среди книг, которые тогда же мне принесли переплестать, был журнал "Русский современник". Там Горький впервые и напечатал эти воспоминания о Ленине. Там оказалось и много того, чего не было в тексте, который мы проходили в школе. Вот, например, что говорил Ленин Горькому о Троцком.

«Да, да, - я знаю! Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много и, кажется, особенно много обо мне и Троцком... А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть».

Не проходили мы и таких слов Ленина из его разговоров с Горьким: «Умников мало у нас. Мы - народ, по преимуществу талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти

всегда еврей или человек с примесью еврейской крови».

Не знали мы и рассуждений Горького об интеллигенции – прямо как его спор с Лениным. «Русская интеллигенция - научная и рабочая - была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства извне...

Я знаю, что за эти мысли буду еще раз осмеян политиками. Я знаю также, что наиболее умные и честные из них будут смеяться не искренно, а - по должности».<sup>x</sup>

Потом я посмотрел разные издания этой статьи за разные годы. Сколько же раз ее кастрировали!

Знал ли Горький о Ленине многое из того, что знаем мы теперь? О самых жестких его приказах, резолюциях, письмах! Тех, что не вошли ни в одно из его пяти собраний сочинений. И тех, что напечатаны на самих неприметных местах, тонули в бесчисленных других и никогда не цитировались – официальная пропаганда никогда не привлекала к ним внимание.

Интеллигенты вызывали особую ненависть вождя. «На деле это не мозг, а говно». Указание Луначарскому в ноябре 1921-го: «Все театры советую положить в гроб». Дзержинскому, 10 мая 1922-го: «...Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручить это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ...». Тех, кого не расстреляли, как Гумилева, выслали в 1922-м на "философском пароходе" на Запад. И это – еще лучшая судьба. Многих приказал за границу не пускать.

Ругал Зиновьева за то, что тот в какой-то момент воспротивился массовому террору. Телеграмма в Саратов: «Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты». Потребовал «расстрелять и вывезти сотни проституток».

Что вы хотите, могут сказать, была Гражданская война! Но а потом? В 1922-м, о ревтрибуналах: «усилить быстроту и силу их репрессий».

И во всем этом ужасе – уверенность, еще в октябре 1920-го: «...Поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10-20 лет будет жить в коммунистическом обществе...».

Первые раскаты послевоенной грозы

Даже мы, школьники, почувствовали, что с конца 1946-го начался поворот.

О совещании партийного руководства с участием Сталина мы не знали. Стенограмму с его высказываниями опубликовали через много-много лет, уже в девяностых. Ударом грома для нас стало Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946-го и главный официальный материал - доклад Жданова. Потом его не раз издавали полумиллионными тиражами, пять лет, вплоть до смерти Сталина.

Назывался доклад: «О журналах "Звезда" и "Ленинград"». По сути это был указ не только для "идеологического фронта", но и для всех граждан. Его изучали, из года в год повторяли в сети политического воспитания, пронизывающей всю страну, все учреждения, предприятия, заводы, фабрики, армию, не говоря уж о системе народного образования.

Когда-то этот доклад знали все. Сейчас, наверно, не так уж многие помнят.

Вот о том, что мы сейчас называем "Серебряным веком": «Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузьмина, Андрея Белого, Зинаиды Гippiус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д. и т. п., т. е. всех, тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве».

А об Анне Ахматовой: «До убожества ограничен диапазон ее поэзии, - поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее - это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности, - чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, - мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой - таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, "добрых старых екатерининских времен". Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой».

О Зощенко: «Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко».

Досталось и Мандельштаму.

Поразительно, но и сейчас есть люди, которые поддерживают те позиции, буквально слово в слово. Даже Эдуард Лимонов, глава влиятельного молодежного движения и далеко не бездарный писатель, признается, что даже в семидесятые годы был согласен со Ждановым, что стихи Ахматовой – «стихи буржуазной дамочки, мечущейся между алтарем и будуаром».

Крепко засели в головах советских людей установки сталинской эпохи... Но зачем все это понадобилось Сталину тогда?

Во время войны приоткрылись шлюзы для духовного влияния Запада, прежде всего Америки и Англии. Зрителям полюбились фильмы: "Серенада Солнечной долины", "Предоставьте это Джорджу" ("Джордж из Динки-джаза"), "Сестра его дворецкого" с Диной Дурбин. Репертуары театров запестрели названиями таких пьес, как "Дорога в Нью-Йорк" и "Путешествие Перришона".

Ну, конечно, и сотни тысяч людей - солдаты, вернувшиеся после войны из стран Восточной и Центральной Европы. Они многое повидали и говорить о чужих странах не боялись, еще бы – победители!

А тут еще анекдоты, один за другим, один хлеще другого. Встречаются на Эльбе советский солдат с американским. Выпили, разговорились, душевно. Наш пожаловался на колхозы. Американец и говорит: - А в чем проблема-то. Ну, на следующих выборах не выберете Сталина, вот и все. Другой анекдот. Американец: - Я своего президента могу критиковать как хочу. Русский: - У нас я тоже могу критиковать вашего президента как хочу.

Вспоминали и старые анекдоты, те, что когда-то приписывали Карлу Радеку. Сталин вызывает Радека:

- Я же тебе запретил сочинять анекдоты!
- Так я и не сочиняю.
- А как же анекдот о Калининe?
- Это который "всесоюзный староста"?
- Ну да!
- Так разве это не анекдот?

В общем распустились у народа языки. А разве можно у нас допустить такое?

Сталину нужно было задушить "растленное влияние Запада". Начиналась холодная война. Вот и шли одно за другим идеологические постановления ЦК. Главное, конечно, о журналах "Звезда" и "Ленинград". А потом - "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению". В сущности, запрещалось все западное. «Постановка театрами пьес буржуазных зарубежных авторов явилась, по существу, предоставлением советской сцены для пропаганды реакционной буржуазной идеологии и морали, попыткой отравить сознание советских людей мировоззрением, враждебным советскому обществу, оживить пережитки капитализма в сознании и быту».

Режиссер Эйзенштейн, оказывается, оболгал «прогрессивное войско опричников Ивана Грозного», да и самого Ивана Грозного, «человека с сильной волей и характером». Сталину импонировала личность Грозного и его методы.

Если в этом постановлении клеймили композитора Никиту Богословского, то в следующем (об опере "Великая дружба" Мурадели) Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Шебалина, Попова, Мясковского.

Романсы напрочь запретили. Даже их слова достать было нельзя. С голоса мамы ее сослуживцы их записывали. В "Ленинградской правде" в какой-то газетной статье привели текст "Калитки" - разумеется, с издевкой. Так этот номер был нарасхват. А в театре Образцова старинные романсы исполняли куклы. Тоже, конечно, с насмешкой - иначе бы не пропустили. Интересно, сознательно он использовал этот прием: хотел хоть так напомнить о романсах?

Запретили западную танцевальную музыку, запретили джаз, саксофон («его любил Гитлер»). Последняя фирма, которая еще выпускала пластинки с западными мелодиями – это "Беллакورد", но и это быстро кончилось.

Для нас, школьников, сентябрь 1946-го, наш девятый класс, начался с уроков, посвященных этим постановлениям ЦК. Нам говорили, что Запад мало что дал развитию мировой науки - все открытия были сделаны нашими соотечественниками. Ольга Ивановна, наша учительница физики, со слезами на глазах просила нас снять со стен физического кабинета и унести в чулан портреты западных ученых.

С переменами мы сталкивались на каждом шагу. Идешь по Невскому – на знаменитом кафе "Норд" уже вывеска: "Север". Гонения на иностранные слова. Перемены не обошли даже собак. Английского сеттера переименовали в крапчатого, ирландского – в

красного (почему-то только само слово "сеттер" в спешке заменить забыли).

Идеологической тягомотины на уроках становилось все больше. И в десятом классе какой-то урок мы сорвали. Дирекция сочла главным виновником меня. Мне объявили выговор с предупреждением об исключении. Мы не испугались. Класс был сильный. Что с нами сделают – не выгонят же за три месяца до окончания. Пришел директор, стал нас отчитывать. Обо мне сказал: - Он у вас великий путаник.

Комсорг класса Геня Генин парировал: - Ну пусть путаник, но все-таки великий.

Все засмеялись. Нотация не получилась. Тем и обошлось.

Школы стали отдельными во время войны. Школьники и школьницы виделись только на совместных вечерах, но и там "западные танцы" все больше заменялись бальными. Падэспань, падепатинер, падекатр. Феодальные вкусы в социалистической стране! Те, кто особенно любил потанцевать, ходили в Мраморный зал Кировского дома культуры или в рабочие клубы "Швейник" и "Большевичка". Почему-то там западные танцы не всегда запрещались.

Снимали с экранов не только западные, но и лучшие советские фильмы. Даже "Небесный тихоход". Кажется, уж к чему тут-то придраться? Оказалось, можно. Там пели:

Первым делом, первым делом самолеты,  
Ну, а девушки, а девушки потом!

И даже в концертах на школьных вечерах предлагалось позубоскалить: - Ну если бы это были не летчики, а кавалеристы, тогда что же, пели бы:

Первым делом, первым делом лошади?

На самом деле фильм сняли с экранов, конечно, не поэтому. Скорее всего, дело было просто в юморе. Юмор ведь тоже вольность. Да и как можно смеяться в такое серьезное время – послевоенное! Может, причины были и другие – как знать?

### Необъяснимое

Вместо лучших советских на экраны пошли трофейные фильмы. Это не обязательно были немецкие. Самые разные, западные – захваченные в Германии. Почему наши – нельзя, а трофейные – можно? Не знаю, никто не объяснял.

Правда, фильмы, во всяком случае, многие - неплохие.

Какой фильм посмотрели больше всего зрителей - за всю нашу киноисторию?

Кто-то скажет "Чапаев", кто-то - "Москва слезам не верит"... А я уверен, что тогда немецкую "Девушку моей мечты" посмотрели практически все. Те, кто помнит первые послевоенные годы, наверно, согласятся со мной. Смотрели этот фильм бесконечное число раз. Приходили в кино с фотоаппаратами. Фотографии ходили по рукам, их продавали из-под полы. Прежде всего те, что казались тогда соблазнительно фривольными (а теперь выглядели бы абсолютно невинными). Героиня танцует, поднимая ногу выше головы. Или - моется в бочке. Шли споры - вырезаны ли кадры, где она вылезает из бочки. И всегда находились очевидцы, которые якобы это видели, в каких-то окраинных, далеких кинотеатрах.

На музыку этой картины сочиняли самодельные тексты. Школьники и студенты распевали эти песенки повсюду.

Не знаю, так ли уж много зрителей собрал этот фильм в самой Германии. Вышел он на немецкий экран в 1944 году, незадолго до конца войны. Многим ли было тогда до кино - под непрерывными бомбежками союзников?

И разве не загадка, что после ужасов войны самой популярной в России стала картина, сделанная в "третьем рейхе"? Ее героиня казалась эталоном женской красоты. Потом, через много-много лет, я опять посмотрел "Девушку моей мечты" - и удивился, как изменились представления о женской красоте. Марика Рёкк оказалась не такой уж изящной и воздушной. Довольно упитанной. И не такой юной. Было ей уже тридцать, что тогда считалось немалым возрастом.

В те годы о Марике Рёкк рассказывали легенды. В них было мало правды. Ничего ведь конкретного не знали. Но откуда-то все-же узнали имя, хотя в русских титрах никаких сведений об этих картинах не давалось: ни имен артистов, ни где снимали, кто, когда, на каком языке...

"Девушка моей мечты" открыла шествие трофейных картин по всему Советскому Союзу. В печати о них не упоминалось. Делался вид, будто их вообще нет, хотя смотрело эти фильмы все население огромной страны. Советский экран конца сороковых этими фильмами жил. Их были десятки - намного больше, чем выпускала тогда советская кинопромышленность.

Почему их показывали в СССР? В стране, которая пострадала от войны так, что, казалось бы, должна была ненавидеть все, что сделано в "третьем рейхе". А на экраны

выпустили эти фильмы. Так что лучшие советские фильмы – нельзя, а те, которые пропустила когда-то гитлеровская цензура – можно. Почему? Неизвестно. Быть может, это прояснится, когда будут опубликованы секретные документы тех лет.

К новым врагам СССР - уже по "холодной войне" – какие-то из этих картин имели прямое отношение. Например, фильм об англо-бурской войне 1899-1902 годов "Трансвааль в огне" (изначально в Германии он назывался "Дядюшка Крюгер"). Его съемки считались самыми дорогостоящими в истории гитлеровской Германии. Трансваальского президента Крюгера играл любимый актер Гитлера Эмиль Яннингс, которому было присвоено звание "государственный артист".

Это был шедевр антибританской пропаганды. Британские концлагеря для буров показали так, что могли нам казаться страшнее Освенцима. Фильм сделан так умело, что, выходя из зала, зрители должны были ненавидеть Англию и англичан.

Помню и другую картину: "Восстание в пустыне". Главную роль играла Цара Леандер, одна из самых известных артисток "третьего рейха". Чаще всего она снималась в амплуа женщины-вамп, но тут предстала просто любящей и страдающей. Трогала за душу сцена, где она пела перед солдатами, с глазами, полными ужаса. Она пела одну песню за другой, стараясь затянуть концерт: знала, что как только кончит, ее восторженные слушатели поведут на расстрел ее возлюбленного.

Этот фильм, как и "Трансвааль...", был талантливо сделанной антибританской агиткой. Возлюбленного героини приговорили к расстрелу за организацию восстания арабов против англичан, и расстрелять его приказали английские власти.

Так нацистская пропаганда пригодилась в "холодной войне".

Правда, таких фильмов было не очень много. И картин с пропагандой фашистских идей советским зрителям все-таки не показывали.

Больше всего было фильмов развлекательных. Прежде всего, немецких, но были и итальянские, и какие-то еще. Об их происхождении приходилось только догадываться. Немало было картин просто о любви, с Джилли и другими знаменитыми певцами: "Ты мое счастье", "Не забывай меня"... Они давали казне колоссальные сборы. Быть может, из-за этого их и показывали?

Удивительно, что посмотрело их в СССР куда больше народу, чем в самой Германии и вообще где бы то ни было? Может быть, СССР вообще был единственной страной, где

после войны их смотрели. Во всяком случае, в Южной Африке из всех моих знакомых никто не видел картины "Дядюшка Крюгер".

На комсомольских собраниях рьяные защитники советской морали требовали запретить эти фильмы. Начальство отвечало, что заведующие кинотеатрами гонятся за прибылью.

Но ведь не заведующие кинотеатрами решали, какие картины крутить...

Порой фильмы внезапно исчезали. Потом вновь появлялись, иногда под другими названиями. Так, однажды я пришел с друзьями на фильм "Убийца среди нас", а это оказался дважды виденный нами фильм "Они не скроются". Но никто не знал, конечно, не снимут ли завтра эти фильмы с экранов. Это еще больше подогревало интерес.

Но главное – само социалистическое государство показывало нам фильмы, в которых женщину любили не за то, что она передовая доярка или работница-ударница. В которых можно было увидеть запрещенные западные танцы. Сейчас они кажутся верхом скромности: ведь даже танго, фокстрот и вальс-бостон были под запретом

И вообще увидеть западную жизнь... Необъяснимо. «Хочет бесноватая действительность над мудрым разумением теории».

Правда, то, что считалось тогда теорией, не было ни мудрым разумением, ни вообще теорией.

Но над клубком этих парадоксов мы тогда не задумывались. Вокруг нас и без того было полно необъяснимого.

А фильмы эти, никуда не деться, стали частицей жизни нескольких поколений. Мое - последнее, которое их помнит.

## Первые университеты

*Ценить в порвавшейся струне  
ее неизданные звуки.*

*Игорь Губерман*

Мамины друзья, среди которых я рос, не верили ни Сталину, ни официальным лозунгам. Поэтому мне потом, после крушения советской власти, было так странно слышать - от многих: - А мы ничего не знали.

Не понимал и не понимаю, как можно было не знать. Естественно, кому-то не выгодно было, не хотелось знать – это помешало бы их карьере. Но ведь говорили это и вполне достойные люди.

Учителями моими – и в школьные годы, и особенно в университетские, были совсем не те, кто официально числились преподавателями. Это были, как сказали бы в Девятнадцатом веке, "лишние люди".

Не найдя себе места в официальных структурах, литераторы, журналисты, гуманитарии разных профессий, ходили в библиотеки, иногда просто по привычке. Возле потемневших книжных шкафов шли разговоры. Бывало, под настроение, изливали душу таким юнцам как я.

Это пришлось скорее уже на студенческие годы. Публичная библиотека и БАН – Библиотека Академии Наук.

Но началось еще со школы. Кроме мамы, которая дала мне тогда, конечно, больше, чем кто бы то ни было другой, два человека на меня повлияли.

Окончание следует...

Ах, сколько их прошло по свету  
от тех до нынешних времен,  
таких неузнанных поэтов  
и нерасслышанных имен!

*Ярослав Смеляков*

Человек в космосе! Под знаком этого события начались шестидесятые годы. Телевизор, кино, песни - всюду космос на первом месте. Даже в женской моде и в детских игрушках. Что уж говорить о журналах и газетах!

Почти одновременно с полетом Гагарина в Москве в журнале "Молодая гвардия" вышла повесть «Первый день на Марсе». Вот уж действительно во благовременье! Казалось, должны встретить на ура.

Но только казалось. Первую часть повести читатели получили одновременно с сообщением о полете Гагарина. Но второй части они так никогда и не дождались. Ни в следующем номере, ни потом. Повесть оборвалась на словах "Окончание следует". Объяснения не последовало.

Даже в истории советских журналов, где всякое бывало, это был случай необычайный.

Читатели могли лишь гадать: арестовали автора, сослали, расстреляли? Шпионом какой разведки он оказался?

Но нет, ничего подобного. Как раз автору-то что-то все-таки потом объяснили.

Объяснили неофициально, чуть ли не шопотом. Сослались на высокое начальство. Имени не назвали, лишь указали пальцем вверх.

Оказывается, начальство встревожилось: а вдруг автор имел какие-то секретные сведения о советских исследованиях космоса или даже о подготовке самого полета Гагарина? Вдруг эти сведения как-то просочились в повесть? И вдруг заклятые янки сумеют вычитать их между строк. От греха подальше, как водится. Еще Салтыков-Щедрин с горьким сарказмом писал: - Не время сейчас! Вы что, не понимаете что ли? Не время!

Набор рассыпали. Корректura сохранилась, вероятнее всего лишь в одном экземпляре.

А автор? Никакой секретной информации у него не было. Ни с кем из причастных к космическим делам никогда не встречался. Просто с детства увлекался научной фантастикой. Там было сколько угодно гаданий, какими должны стать межпланетные ракеты. Но мало что - о людях, которые будут ими управлять.

Какими они будут? Что важнее: тонкая организация или железная нервная система? Нужна ли интеллигентность?

Даже внешний облик: должны ли они быть богатырями или - небольшого роста? Ведь каждый лишний килограмм - чего это будет стоить?

А какие качества нужны, когда в ракете окажется экипаж из нескольких человек - как сделать так, чтобы они легче уживались друг с другом, могли вместе работать?

Многие ли, кроме узких специалистов, задумывались об этом? А автор "Первого дня" про это и писал. И, конечно, это привлекло к его повести внимание.

Автором был Валентин Александрович Макрушин (1902-1987), мой дядя, младший брат мамы. Тот, в чьей квартире мы, родственники, жили в начале блокады, когда он был на войне.

Как и мама, и вся наша семья, пережил голод 1921-го под Самарой, когда погиб его отец - мой дед. Бежал из умирающего Поволжья в Москву. Окончил Литературные курсы Брюсова, но даже не пытался стать литератором. Не мог и не захотел приспособливаться к «социалистическому реализму». Выбрал профессию технического редактора и оформителя книг. Работал в одном из издательств, которые находились в ленинградском Доме книги. Вместе с Лилей Брик участвовал в подготовке посмертных изданий Маяковского.

Всю финскую войну прошел артиллеристом. Снова призвали еще до начала Отечественной. Воевал под Брестом, с первых дней. Контуженным и раненым попал в плен. Освободили американские войска. Мог стать невозвращенцем, но такой вопрос перед ним даже не встал. Домой! Ему повезло – не отправили на Колыму, как сотни тысяч других военнопленных, якобы за сотрудничество с немцами. Осенью 45-го вернулся в Ленинград, на Васильевский остров. Пришел домой в коммунальную квартиру, где было еще восемнадцать комнат. Вошел в свою – пусто. Тетя Лиля, его жена, умерла. Детей отдали в детдом. Забрал их домой. А как прокормить? На работу не берут - «был в плену».

Надеялся устроиться хотя бы шахтером. Поехал в Донбасс. Но не взяли и там – на этот раз по здоровью.

Жили впроголодь.

«Оттепель» дала надежду. Возник журнал «Нева», и его взяли туда техническим редактором. Тут он и решил, наконец, попробовать себя в литературе. Писать о советских порядках – не по душе. Вот и ушел в фантастику. Несколько лет жил космическими мыслями, загадками и догадками.

Казалось, повезло. В "Молодой гвардии", одном из лучших тогда журналов, сразу одобрили, приняли. И вдруг такой афронт!

Как тут не опустить руки...

С конца шестидесятых мне удалось привлечь дядю Валю к своим планам: мы вместе написали книгу о том, как Россия знакомилась с дальними странами - с Южной Африкой,

Мадагаскаром. Идея ему понравилась. Подолгу просиживал в библиотеках, архивах. Искал, как выглядела Африка в «космографиях», еще рукописных, выискивал первые русские печатные «Географии», старые российские карты.

Увлекла его и история о том, как Петр I выведал «крепкий секрет» Карла XII о флибустьерской республике на Мадагаскаре, как русские корабли отправились в дальнее плавание к «Королю Мадагаскарскому» – и почему не доплыли. И как Екатерина II повторила замысел Петра.

Большинство документов обо всем этом – в Петербурге. Делал копии старинных карт, книг. Посылал мне в Москву. Приезжал, и мы разбирали эти копии, выписки, обсуждали.

Потом – то же о Девятнадцатом столетии. Это уже легче – ближе к нашему времени. Чем-то казалось понятней.

Так и родились у нас очерки, статьи, а затем и две книги: «Облик далекой страны» и «Зов дальних морей». Вышли неплохим тиражом: 50 и 15 тысяч. Для дяди Вали это было отдушиной, полем применения сил, которым прежняя жизнь не дала выхода.

Но то, о чем он мечтал – стать писателем - не состоялось. После 1961-го, когда рассыпали его повесть, он уже больше не писал.

Прожил дядя Валя не мало. Восемьдесят пять лет.

Он всегда был мне близок. Чему учил?

Стараться в окружающем, в людях, видеть хорошее. Ложась спать, представлять себе радостные картинки: море, берег, солнце. Сам он когда ему было уж совсем неважно, гулял возле старых петербургских домов, воображая что-то радостное и веселое, что могло там происходить. Какие головки выглядывали когда-то из этих окон...

Незадолго до кончины, он писал мне: «старался я уходить в сторону от действительности... Сейчас говорят: "положительные эмоции". Они уводили меня от неурядиц, неприятностей, горестей... Потренируйся на таком уходе от безрадостной действительности. Это помогало мне оставаться спокойным даже на войнах».

Он мог бы процитировать Бориса Чичибабина:

Безумный век идет ко все чертям,  
а я читаю Диккенса и Твена  
и в дни всеобщей дикости и тлена,  
смеясь, молюсь мальчишеским мечтам.

Или Гумилева:

Здесь, в мире горестей и бед,  
В наш век и войн и революций,  
Милей забав ребячьих – нет,  
Нет глубже – так учил Конфуций.

Перечитываю письма дяди Вали. В последние годы жизни он познакомился с женщиной, вдовой, в сквере возле Исаакиевского собора. Обоим за восемьдесят, хотели соединить свои жизни. Звали ее Марией Николаевной. Дед – морской офицер, отец – уланский ротмистр. Сказала дяде Вале: - Спешить Вам нужно. Уходить от одиночества.

Она неожиданно умерла. И письма, на какое-то время ставшие оживленными, опять погрузнели. Но попрежнему добрые советы: «Сохранять силы, свежесть мышления и эмоций десятилетиями...». Об очередной книге, которую я готовил: «... лирики бы, задушевности, искренней, бережной и рачительной».

А о себе: «Не жалею, вспоминая о прошлом, не страшусь будущего».

Он-то и был настоящим историком

Что я не изведal бесчестья чинов  
И милость сановных наград.

*Александр Галич*

Одним из первых для меня университетов стало общение с Георгием Леонидовичем Григорьевым (1913-1980). И его библиотека.

Для встречи с ним мне не надо было ходить в Публичку. Я знал его с детства, с середины тридцатых. Мама была другом его семьи – матери, Нины Ивановны, и отца, Леонида Николаевича, и тети, Надежды Федоровны Соколовой, которая жила вместе с ними. Мне так памятен их дом на Гороховой! Это по дороге к ним меня зачаровал слон в витрине булочной.

Еще в тридцатых я слышал, почему Гога (близкие звали его «Гога», даже в старости. Он не обижался) не смог заниматься историей, которую любил страстно. Думаю, мало кто из историков знал тогда прошлое России так, как он. Но стать профессиональным историком ему не дали.

Почему? Да потому, что дед его был действительным статским советником. Кажется, даже оба деда. Среди родственников – генералы царских времен, чиновники высоких

рангов. Да и отец, Леонид Николаевич, врач, герой русско-японской войны, тоже не пользовался благосклонностью новой власти.

Так что в 1920-х о поступлении в университет Гога не мог и мечтать. Вот и пришлось идти в кабельщики... В некрологе в газете «Московский телеграфист» сказано: один «из ведущих специалистов по системным вопросам местной телефонной связи». И вскользь: «занимался глубокими исследованиями по истории нашей Родины».<sup>xi</sup>

Другой некролог, довольно неожиданно для человека из Министерства связи – в газете «Суздальская новь». В ней публиковались его очерки о суздальской старине. «Интересный собеседник, увлеченный рассказчик, он обладал прекрасным даром просветителя - умел показать за внешней стороной исторических событий их политическую обусловленность, выявить истоки сил, приводивших к тому, о чем скупно сообщалось в летописях.

С безмерной грустью начинаем создавать мы, что уже не придет в редакцию, как это бывало, дорогой гость из Ленинграда - крупный, энергичный человек, искрящийся изяществом речи и блестящей точностью формулировок мысли».<sup>xii</sup>

Но из этого некролога тоже вряд ли поймешь, что Георгий Леонидович посвятил истории всю свою жизнь. У него не было семьи. Он никуда не ездил в отпуск. Не эвакуировался в годы блокады. Постоянно жил в Ленинграде. Был не слишком общителен. Книги, книги, книги. Исторические документы. Отдел рукописей Публичной библиотеки...

Все деньги тратил на книги. Тогда, в тридцатых, сороковых, да и в пятидесятых, был, в сущности, книжный голод. Нужные книги можно было купить только у букинистов. И он не реже раза в неделю обходил букинистические магазины, начиная с лучших – на Литейном.

Держать большую библиотеку дома не мог. У него была только одна комната из той огромной квартиры, которая когда-то вся принадлежала его семье. Еще одна - комната его тети, да закуток для отца (мать умерла вскоре после войны). Вселили в квартиру очень пеструю публику. Гога рассказывал о персонажах своей квартиры с юмором, правда, не веселым. Героем многих его рассказов был Пахом Пахомыч, бывший милиционер, изгнанный со службы за то, что обобрал какого-то пьяного. Однажды жильцы совещались, кого бы позвать покрасить ванную. Пахом Пахомыч заявил: «Да ванну может покрасить каждый дурак. Я сам ее покрашу». Как-то, он пришел из кино, и его спросили, цветной ли

был фильм. Он задумался, потом ответил: - Местами.

В комнате Гоги были три старинных громоздких книжных шкафа. Как только шкафы переполнялись, он складывал на полу штабель уже прочитанных и не очень нужных, и вызывал букиниста. Так освобождалось место для новых. Продать книги при тогдашнем дефиците не составляло труда.

Кроме книг – папки с выписками. Ахматова, Гумилев, Волошин – то, чего и у букинистов не достать. Выписки из той научной литературы, что была под запретом или полу-запретом. Там я после войны впервые читал Мережковского – синие дореволюционные тома.

И историки. Ключевский, Костомаров, Кареев...

Слушать его можно было бесконечно. То, что ни по радио, ни в газетах не узнаешь. Отечественная культура в его рассказах никак не сочеталась с социалистическим реализмом. Да и вообще - интересы у него были поразительно разносторонние: культура майя, история хазар, запретная евгеника...

Он очень любил Алексея Константиновича Толстого, хотя и считал, что тот идеализирует домонгольскую Русь. У Гоги я прочитал впервые «Порой веселой мая» и «Порядка ж нет как нет». И «Сон Попова», где русский министр в 1873 году говорит так по-современному:

Искать себе не будем идеала,  
Ни основных общественных начал  
В Америке. Америка отстала:  
В ней собственность царит и капитал.  
Британия строй жизни запятнала  
Законностью. А я уж доказал:  
Законность есть народное стеснение,  
Гнуснейшее меж всеми преступленье!

Может быть, Гоге и повезло, что его не взяли в университет, тем более на истфак. На него не влияли ни штампы официальной исторической науки, ни ее гонения. Он был таким же, как те изгои, с которыми мы шушукались у шкафов Публички.

Историю Гога не просто любил. Она была его страстью. Он ею занимался всерьез, более глубоко, чем многие известные историки. Одной из его любимых тем была «опришнина»: почему все-таки Иван Грозный ввел ее? Зачем надо было ограждать себя «псами царскими»? Сколько поколений ученых бились над этой загадкой! Сколько было

теорий и версий!

У него родилась такая.

Василий III развелся с Соломонией Сабуровой, своей первой женой, отправил ее в монастырь, якобы из-за бездетности. И женился на Елене Глинской – в то время, как Соломония была уже беременна. Существование старшего брата Георгия, законного наследника престола, или распускаемые кем-то слухи о его существовании, и вызывали постоянный страх у Ивана Грозного, были первопричиной многих его деяний, которые трудно объяснить, если не допустить этой гипотезы.

Гога так резюмировал свои поиски::

«Можно ли считать доказанным, что у Грозного был скрытый соперник, претендовавший на царский трон? Нет, доказанным это считать нельзя. Однако можно утверждать другое: данная гипотеза хорошо согласуется с известными фактами и позволяет логично объяснить многие события и показания документов, не находивших ранее удовлетворительного объяснения.

Действительно, если исходить из данной гипотезы, то становится понятным, с кем вел борьбу Иван Грозный. В этом случае не возбуждает удивления и то обстоятельство, что социальный состав обоих лагерей, земщины и опричнины, оказался довольно схожим. Ведь при феодальных династических распрях борющиеся группировки мало отличались друг от друга по своему социальному составу. Основу обоих лагерей составляли представители феодального класса, но к ним обычно примыкало немалое число людей иного социального положения. Поэтому понятным становится и большое число жертв опричнины из разных слоев населения. Понятнее становится и назначение опричнины, и причины, по которым она приняла именно такие формы, а не какие-либо другие... Проясняются и характер событий 1569-70 гг. в Новгороде и Твери, и причины, побуждавшие Грозного вести переговоры с английской королевой о предоставлении ему убежища. Наконец, появляется логичное объяснение причин гибели всех руководителей опричнины, скомпрометировавших себя в глазах населения и сделавшихся опасными свидетелями тайных дел Грозного».<sup>xiii</sup>

Над исследованием, которое завершилось этими выводами, Гога работал много лет. Закончил в 1966-м. Как он хотел увидеть рукопись опубликованной!

У Александра Галича есть строчки:

Ох, как мне хочется, взрослому,  
Потрогать пальцами книжку  
И прочесть на обложке фамилию,  
Не чью-нибудь, а мою!

Он ушел из жизни летом 1980-го, так и не дождавшись публикации труда своей жизни. Но спустя еще почти два десятилетия его все же издали, усилиями историка Андрея Леонидовича Никитина (1935-2005). Дал он ей несколько иное название: «Кого боялся Иван Грозный? К вопросу о происхождении опричнины». Но к тексту отнесся бережно.<sup>xiv</sup>

Свое отношение к рукописи и к ее автору Никитин выразил в предисловии, а еще раньше – в своей книге «Точка зрения»<sup>xv</sup> и в статье в журнале «Наука и религия».<sup>xvi</sup>

Как и Гого, Никитина увлекала эпоха Грозного. «Время Ивана IV, время кровавой опричнины, как и очень многое в науке советского периода, - писал он, - было табуировано для анализа ее центральной фигуры, как были табуированы записки иностранцев, опричников и неопричников, одинаково подпадавших под клеймо «злопыхателей» и «лжецов», якобы намеренно «опорочивающих» все, чему они были свидетелями в России. К слову сказать, такой азиатский взгляд на европейцев мы унаследовали как раз от XVI века вместе со всеобщим рабством, получившем к его концу свое окончательное оформление...

Чтобы обрести правдивое представление о собственной истории, освободиться от привычной лжи, самохвальства, рабского преклонения перед царским титулом, которому и по сейчас принято приписывать чуть ли ни божественные достоинства, необходимо ввести в историческую науку человека не в качестве составляющей статистическое множество, а как главное действующее лицо - со всеми его страстями, достоинствами и недостатками, поскольку дело идет не о «социальной истории», а об истории собственно человеческой жизни».<sup>xvii</sup>

Исследования Гоги Григорьевой заинтересовали Никитина потому, что он сам уже шел близким путем. «Поначалу меня интересовала только история Соломонии и ее сына: возможность посредством существования Георгия объяснить события шестидесятых гг. XVI в. впервые показал мне Григорьев».<sup>xviii</sup> Никитин был далеко не во всем согласен с Гогой, но отнесся к его взглядам с глубоким уважением.

Обсуждать версию Георгия Леонидовича я не буду. Теперь его книгу можно прочитать. Пусть те, кому интересна эта тема, судят сами. Для меня важнее сам автор. Никитин познакомился с Гогой в 1969-м, через три года после того, как рукопись была

завершена. А со мной Гога делился своими розысками с первых послевоенных лет.

На похоронах Гоги о нем говорили, как и о дяде Вале: с уважением, но – как о чуде.

Смотрю на подаренные им рукописи: "Петербург середины XVIII века", "Разгром Твери опричным войском в 1569 г.". И главной его книги – опричнина. Он подарил мне ее сразу же, в 1966-м. Перебираю то, что осталось о нем в памяти.

Гога привил мне любовь к истории, показал, как должен работать историк. Но заклинал не идти на истфак. Любить историю, но не быть на привязи к «генеральной линии».

Я не послушался, может быть, напрасно.

### В последние сталинские годы

Моя университетская жизнь пришлась на последние годы правления Сталина.

Пусть аресты и не были столь массовыми, как в тридцать седьмом, но давление режима пронизывало все стороны жизни общества. «Нормальной» жизни у нас не было.

Конечно, мы, студенты, видели далеко не все. И то, что видели, не всегда могли понять.

Жили, как и все вокруг, слухами. Никакой подлинной информации ни газеты, ни радио не давали. Громадные успехи «Великих строек коммунизма». Козни против нас проклятых капиталистов. Уверенность в том, что им осталось недолго, сметет их с лица земли негодование народов всего мира. Но вот о том, где и как живут миллионы выселенных кавказцев и крымских татар, или о том, что Ашхабад снесен с лица земли землетрясением – об этом в газетах не упоминалось.

Придя на истфак Ленинградского университета, я увидел объявление: состоится заседание Ученого совета с докладом декана В.В. Мавродина "Задачи исторической науки в свете итогов сессии ВАСХНИЛ". Лысенковский разгром генетики на сессии сельскохозяйственной академии прошел только что, в августе 48-го, когда мы сдавали экзамены, и вот, уже в начале сентября, историкам велели следовать примеру лысенковцев.

Люди старшего поколения, с кем я общался, говорили об этом с ужасом. Переживали за генетиков и боялись за свое будущее.

Уверен, что Владимиру Васильевичу Мавродину делать доклад было совсем не по

душе. В этом я скоро убедился. Мы слушали его лекции о древней и средневековой Руси. Они были очень бравурными: «Под звон мечей и пенье стрел Россия выходила на мировую арену». Как-то, встретив его коридоре, я спросил: - Зачем Вы так? Осмелился я на такую дерзость потому, что он очень хорошо ко мне относился. Помнил, как я, еще школьником, ходил на его лекции во Дворце пионеров.

Он засмеялся: - Дорогой друг, история может быть в двух видах: как наука и как патриотический жанр. Вот и делайте вывод.

Сказал он как бы в шутку. Но за такую шутку можно было ой как поплатиться.

Поражал он меня много раз и потом. Откровенностью – преподаватели обычно всячески старались ее избегать. Большинство - по Чуковскому:

А кузнечик, а кузнечик,  
Ну, совсем как человечек,  
Скок, скок, скок, скок!  
За кусток,  
Под мосток  
И молчок!

А одна из брошенных Мавродиным фраз решила направление моей студенческой, да и дальнейшей научной работы.

Ведь как бы ни привлекала меня Африка, это было, как теперь говорят, – хобби. А сколько-то всерьез интересовала все-таки отечественная история. Я посоветовался с ним. Он помолчал. И ответил - совсем не в духе тех времен:

- Знаете, я слышал, будто Сталин сказал, что историей славян лучше заниматься самим славянам. А я Ваше личное дело видел. У Вас ведь только половина славянской крови. Да и фамилия... Подумайте. Я-то, конечно, не против.

Я стал думать. Советовался с умными людьми. Гога настойчиво не советовал мне идти на истфак:

- Ну, если уж так - займитесь Африкой. Вы любите Гумилева. Читали Луи Буссенара и Райдера Хаггарда. Европа? – уж больно много в ней Маркс с Энгельсом и Ленин со Сталиным наследили. Придется Вам все время оглядываться на каждую их цитату, и крутиться, как лыжнику – слалом между флажками. А об Африке вроде они не очень высказывались. Посвободней Вам будет.

Это и оказалось последней каплей.

Потом Мавродин поразил меня еще больше. Начало второго семестра, февраль 49-

го. Буквально после первой же его лекции подхожу к нему: - Не разрешите мне сдать экзамен досрочно?

Получалось (до меня не сразу дошло), что не хочу я слушать его лекции. Но он ответил спокойно: - Пожалуйста.

Согласие я получил. Надо было готовиться. А лень брала свое – откладывал со дня на день.

Вскоре он остановил меня в коридоре:

- Если хотите сдавать экзамен м н е, приходите завтра.

Я не очень понял. Но всю ночь готовился и назавтра пришел. Отвечал сбивчиво. Вместо восстания Болотникова рассказал о Булавине. Но он смотрел отсутствующим взглядом и молча поставил «отлично».

И буквально в тот же день я, совершенно случайно, узнал, что его вызывали в Москву, к Шкирятову, в Комиссию партийного контроля. И предъявили такие обвинения, после которых он вряд ли мог остаться деканом. А то и партбилет потерять.

Я был потрясен - в этой ситуации он вспомнил о каком-то первокурснике с его нелепой просьбой!

Эту новость на курсе я узнал первым. На следующий день пошел на его лекцию, хотя и сдал экзамен. И уговорил сокурсников аплодировать.

Через несколько дней его сняли с должности декана, уволили из университета и исключили из партии.

Наступал разгар кампании борьбы против «космополитизма» и «низкопоклонства перед Западом». Не буду ее описывать. Приведу один пример из пропаганды.

В 1950-м тиражом в сто тысяч вышла в «Библиотеке Крокодила» брошюра эпиграмм Сергея Васильева. Эпиграмма «Космополит». О ком? «Мастит, учен и сед». Но -

Он вреден нам, предатель с видом Ноя,  
Не помнящий отчизны и родства.

Если кто-то не понял, что речь идет об интеллигентах, то еще яснее – в эпиграмме «Теоретик тонких наук».

Он тихий теоретик, так сказать,  
Но он творит, все более хамя:  
Всего Тургенева он может променять  
На заграничный чих Хемингуэя.

Ну а дальше – уже переход на личности. О Пастернаке:

Что вместо мыслей у меня -  
Канатчикова дача.

А у Михаила Светлова поиздевались и над личной жизнью, над отношениями с женой, с которой они вместе прошли Гражданскую войну:

Эскадронная кляча!  
Уйди, не мешайся,  
Закройся подушкой,  
Чтоб я не слышал  
Трагедийного плача.

Было страшно, но хамство возмущало. По воспоминаниям Константина Симонова, хамский тон задавал Сталин: - Иностранцы – засранцы.

Прекратите пороть чепуху!

Николай Арсентьевич Корнатовский, заменив Мавродина на должности декана, решил обратиться к студентам с тронной речью. Собрание, которое он провел, запомнилось мне на всю жизнь.

В лектории, самой большой аудитории истфака, собрался весь факультет.

Корнатовский объяснил нам, каким должен быть студент-историк. И что мы под эти требования пока что не очень подходим.

- Вы ведь историки, будете учителями, духовными наставниками нашего народа, борцами идеологического фронта. А можем ли мы вам это доверить? Знаете ли вы жизнь наших рабочих, колхозников? Работали на заводах, в колхозах?

Он добавил даже: - Бывали ли на подводных лодках?

Многие из нас, конечно, бывали в колхозах – в годы эвакуации. Кто-то поработал и на заводах. А из демобилизованных фронтовиков – их на истфаке было немало – кто-то, наверно, ходил и на подводных лодках.

Но декан говорил с вызовом.

- Ну и последнее. Недавно были выборы в Верховный совет. Советский народ снова продемонстрировал верность блоку партии с беспартийными. Но нашлись и такие, кто голосовал "против". Вы думаете, тут, среди нас, таких нет?

И кончил: - Мы вас пока что мало знаем. Но узнаем.

Потом прочитал посланные ему записки с вопросами. Первая звучала так: - Будет ли

считаться космополитизмом недостаток внимания к национальным традициям чужого (не русского) народа?

Чтобы вникнуть в смысл записки, он прочитал ее два раза.

- Автор записки, конечно, не подразумевал Соединенные Штаты и Англию? В таком случае – конечно, да. Неужели вы думаете, что мы позволим вам не считаться с великими революционными традициями французского народа, оплевывать его коммунистическую партию?

Получалось, что с традициями английского и американского народов можно не считаться.

Тогда подали ему еще одну записку. В отличие от первой, эта была короткая: «Прекратите пороть чепуху».

Корнатовский прочитал ее вслух. Очень спокойно. Он был уверен в своем положении: поговаривали, что его назначат ректором.

Но секретарь факультетского партбюро, Николай Яковлевич Иванов, всполошился. Ведь за такие записки мог поплатиться и он - решат, что партбюро плохо ведет идеологическую работу. Он вскочил:

- Кто писал записку?

Все притихли. Гробовая тишина.

- Ну, что ж, разберемся. Сидите по местам. Проследим, как шла записка по рядам, и найдем этого негодяя.

След привел наверх. Зал лектория – амфитеатр, и на самом верху, на галерке – просто стоящие кое-как стулья. Тут след потерялся.

Иванов нашелся: - Хорошо, будем сличать почерка.

Тогда встал Миша Чигринский, студент третьего курса, кафедры истории международных отношений, той, где учился и я:

- Не надо сличать почерков. Записку писал я.

Иванов приказал ему спуститься вниз и встать лицом к нам. Как подсудимому.

И начался следующий акт действия. На кафедру вышел пятикурсник и потребовал исключить Мишу из комсомола. Немедленно! Сейчас же! Высоченный, перегнувшись через кафедру, он вопил: - Я не могу дышать одним воздухом с этим человеком!

Пятикурсник, разумеется, думал о своем будущем - ему скоро предстояло получать

распределение на работу. Надо было выслужиться. (Потом его, действительно, распределили на очень престижную должность).

Его примеру последовали еще двое пятикурсников. Клеймили Чигринского, стараясь превзойти друг друга.

Но и это еще не конец. Я впервые увидел там эффект потерявшей рассудок толпы. С мест кричали: - Выгнать его! Прямо сейчас! Что тут думать!

Рядом со мной сидела девушка из моей группы. Ей не было и восемнадцати. Она тоже кричала. Через несколько дней я завел с ней разговор об этом собрании. Она себя не помнила.

Мишу спас студент его группы Виктор Фураев. Он просил дать их группе разобраться самой и предложить решение. К голосу Виктора прислушались: фронтовик, заместитель секретаря партбюро.

Для нас это собрание стало знаком той бури, которую старшие уже чувствовали.

#### Такая вот повседневность

У меня каким-то чудом сохранился номер газеты «Ленинградский университет» от 20 апреля 1949 года. Отчеты о партсобраниях на факультетах университета.

На физфаке: «Отвергая гнусную идеалистическую фальсификацию физической науки со стороны таких "столпов" буржуазной науки, как Бор, Эйнштейн, Шредингер, Эддингтон, Джингс и прочие дипломированные лакеи буржуазии...».

На истфаке: «...серьезные ошибки космополитического и буржуазно-объективистского характера в работах и лекциях профессоров С.Я. Лурье, О.Л. Вайнштейна, С.Б. Окуня, С.Н. Валка, А.В. Предтеченского, Б.А. Романова...».

Не забыли и маленькую группу студентов первого курса, в которой я учился. «Студенты Ю. Баранов и Ю. Соловьев, раболепствуя перед всем иностранным, охаивают замечательные произведения советского киноискусства». Восемнадцатилетнего Юру Баранова пропустили через серию комсомольских собраний. Единственные обвинения, которые ему предъявлялись: любит джаз и читает журнал «Америка». Сдавать весеннюю экзаменационную сессию он не явился. Староста нашей группы пришла к нему домой, узнать в чем дело. Ответили: «арестован». По факультету шептались, что ему дали 10 лет. Больше я никогда его не видел. Юре Соловьеву повезло. Очевидно, разверстка на число

арестов на факультете была выполнена – и от него отстали.

Запомнилось и еще одно собрание, в той же аудитории. В первый ряд посадили преподавателей. Затем каждый по очереди должен был подниматься на кафедру и виниться в своих ошибках и неверных взглядах.

Дошло до академика Струве. Он говорил примерно так: - Я ведь, как ученый, сложился еще до Великой Октябрьской революции. Мне, конечно, надо во многом учиться у моих учеников.

Вел собрание тот же Корнатовский. Завершая, сказал: - Ваши преподаватели сейчас каялись. Посмотрим, искренни они были или нет.

Не обошлось и без курьезов. Один из ораторов (не буду называть его имени) потрясал только что изданной книгой профессора Л.И. Зубока "Империалистическая политика США в странах Карибского бассейна, 1900-1939", и кричал: - Тут же на каждой странице цитаты буржуазных авторов. Конечно, разоблачать их надо. Но зачем же цитировать? Ведь цитируя, мы их пропагандируем.

И стал приводить, одну за другой... эти самые цитаты.

В зале нарастал смех...

Корнатовский был у нас на факультете одним из главных организаторов кампании борьбы против «космополитизма» и «низкопоклонства перед Западом».

Но - не рой могилу другому.

Какие-то доброты занялись творчеством самого Корнатовского. Он тогда, кажется, ничего не публиковал. В те времена из уст в уста переходили образчики тогдашней мудрости: «Напиши три строчки, и я найду, как объявить тебя врагом народа». «Кто ничего не пишет, тот навсегда останется мичуринцем» (Лысенко, истребляя генетиков, превозносил Мичурина). И еще: «Не думай; если подумал – не рассказывай; рассказал – не записывай; записал – не публикуй; опубликовал – кайся».

Корнатовский, думаю, не знал этой премудрости, но интуиция ему подсказывала, что публиковаться не время. Однако, в его старых статьях кто-то нашел раскавыченную цитату Троцкого. Скорее всего, это была не какая-то оригинальная мысль Троцкого, а расхожий партийный лозунг. Но достаточно того, что его произносил и Троцкий. Корнатовского посадили за «троцкизм-контрабандизм».

... Допекали нас не только бесконечными собраниями о бдительности, идейной

чистоте и борьбе с отклонениями, но и «аморалками». Стоило какой-нибудь незамужней студентке родить – и начинались поиски «мерзавца», который «сделал» ей ребенка. Сами студентки зачастую не хотели привлекать к этому внимания. Но общественность требовала...

Был случай, когда на собрании «обвиняли» сначала одного, потом другого, хотя сама «героиня» никого не хотела называть. Наконец, один из допрашиваемых, не выдержал: - Ребята, честное слово, я ведь только один раз!

Зал взорвался хохотом, и рьяному комсомольскому начальству пришлось допрос закончить.

Собраний было так много и тянулись они так долго, что иногда приходилось напоминать, что скоро разведут мосты через Неву.

Должно быть, это была политика - чтобы у студентов, не оставалось времени думать.

Как складывались отношения с преподавателями? В университете то и дело кто-нибудь исчезал. Особенно – на политэкономическом и биологическом факультетах. Да и у нас тоже. Одних просто выгоняли, других - арестовывали. То же - и в Москве и по всей стране. Но Ленинград был опальным, и здесь давление чувствовалось сильнее. Преподавателей держали в постоянном страхе. На нашем факультете был доцент, о котором говорили, что он на всех собирал компромат. Да он и не отрицал – наоборот, гордился. Во внутреннем кармане носил записную книжку и, похлопывая себя по груди, говорил: - Все вы у меня тут!

И со студентами преподаватели держались очень осторожно, неровен час - донесут.

Среди профессоров были прекрасные специалисты. Сигизмунд Натанович Валк, Борис Александрович Романов, Анатолий Васильевич Предтеченский, Семен Бенционович Окунь... Но в разговорах с нами они старались не выходить за строгие рамки своего предмета. А если выходили, долго на факультете не задерживались.

Семен Бенционович прекрасно читал лекции по истории России. А лекцию об убийстве Павла I и связанных с этим событиях, так ярко и артистично, что послушать сбегались студенты с других факультетов. И тут же партбюро выразило ему свое недовольство: сосредотачиваться нужно не на таких событиях, а на социально-экономических процессах.

На книгу Окуня откликнулись хвалебной рецензией – о ужас! - в Америке. Как он боялся, что об этом узнает начальство!

Профессор, которая вела у нас историю средневековья, была лучшим медиевистом в Ленинграде. Занималась она Францией времен Ришелье, Мазарини, Людовика XIV. Одним словом, временем, которое мы знали по «Трем мушкетерам». Но вместо этого весь год мы должны были штудировать 24-ю главу первого тома «Капитала»: «О первоначальном накоплении». Правда, я написал курсовую работу о Генрихе Наваррском. Она молча поставила мне «отлично», без комментариев.

А как было работать нам, студентам-международникам? Ведь нужна свежая зарубежная литература. Особенно, по Двадцатому веку. Но ее не было. Если ее и получали в Библиотеке Академии наук или в Публичке, то отправляли в спецхран. А как ты туда попадешь? В тех книгах библиотеки истфака, которые рекомендовали нам преподаватели, каким-то химическим составом были выбелены отдельные страницы... Даже советские газеты за прошлые годы, даже «Правду» - чтобы их получить в библиотеке, надо было специальное разрешение.

\*   \*   \*

Группа, в которой я оказался, была пестрая, но неплохая. Отношения – доброжелательные. Среди студентов – немало интересных. Борис Ананьич стал потом академиком, крупнейшим знатоком истории России нового времени. Юра Соловьев написал трехтомник «Самодержавие и дворянство в России начала XX в.». Виктор Корчной стал одним из крупнейших шахматистов мира.

Особая судьба сложилась у Виктора Шейниса (он, правда, был в нашей группе только первый год, потом перешел в другую). Поначалу у него были вполне искренние большевистские взгляды, и он начал было продвигаться по комсомольской линии. Но потом, шаг за шагом, разуверился. А в конце 1956-го публично осудил советское подавление венгерской революции. Конечно, его исключили из комсомола и отчислили из аспирантуры. Правда, не арестовали. Семь лет проработал токарем на Кировском заводе. Но духом не пал, и все свободное время уделял науке. В конце восьмидесятых Виктор стал видным общественным деятелем, его избрали в Совет народных депутатов. Потом, от партии «Яблоко», он был депутатом первых двух Государственных Дум. Участвовал в подготовке конституции Российской Федерации. А его изданный в 2007-м двухтомник об

общественно-политической жизни времен, которые теперь называют ельцинскими, - пожалуй, самая тщательная и подробная история тех событий и настроений.

Из старшекурсников больше всего уделял нам внимания Раня Ганелин (он потом стал членом-корреспондентом). Он относился к нам очень по-доброму и был поразительно хорошо информирован обо всем, что происходило в стране. Потом, в 2005-м и 2007-м, у него вышли воспоминания «О чем историки говорили между собой». Прекрасные знания и замечательная память сделали эту книгу ценнейшим источником по тем временам.

Не чурался нами и Саша Фурсенко. Тогда начиналась его карьера. Третьекурсником он уже был председателем Студенческого научного общества университета. А впоследствии – академик, академик-секретарь Отделения истории Академии Наук. Не буду называть его научных трудов, как и трудов Ананьича и Ганелина. Они известны.

Курсом моложе была Римма Казакова. Уже тогда писала стихи. И Том Колесниченко – потом известный журналист. Я с ним подружился на строительстве колхозной электростанции летом 1950-го.

В нашей группе дуболомов не было. А вообще на факультете - как же без них? Когда наш курс подготовил свою первую стенгазету – каждый курс должен был выпускать свою стенгазету, - одна студентка принесла свои лирические стихи. Секретарь комсомольского бюро всего факультета, по тем временам – высокий пост, просмотрел, что мы подготовили и возмутился:

- Зачем тут стихи? Газета должна воспитывать советскую молодежь, а не стишками развлекать.

В нашей группе никто не делал карьеры комсомольской сверхактивностью. А вообще-то – это было нормой. Один второкурсник при каждом удобном случае повторял:

- Кем я был? Хулиганом был. А кто из меня человека сделал? Партия и комсомол!

Ну как такому человеку не доверить ответственной должности? Большим человеком стал в комсомольской иерархии.

Молодость есть молодость. Нам тоже хотелось радостного, веселого. И смеха было много, хоть время было и страшное. Находили что-то радостное даже в строго принудительных майских и ноябрьских демонстрациях. Что уж говорить о действительно смешных случаях.

В технических ВУЗов строгости были не такими жесткими, как у нас. В

Политехническом институте, где училось много моих одноклассников, два студента пошли в бар «Уют» на Литейном, отметить получение стипендии. К ним сразу присоединилась девушка. Один из ребят, поняв, что он лишний, ушел, а оставшаяся пара, поймав такси, принялись там заниматься любовью. Но нравы были суровые - шофер их высадил. Они пристроились на газоне, но тут объявился дворник и сдал их в милицию. В Политехничке устроили комсомольское собрание с повесткой дня: «Дело о попытке студента ... к сближению с гражданкой ... на панели дома №...». Слово взял парторг: - Скажи, каким стимулом ты руководствовался?

В той же Политехничке преподаватели организовали шуточный клуб - «Клуб рахитов». Собирались там те, кто любил спорт и туризм. Времени на это у них не было, но хоть поговорить...

Как раз тогда власти создали Общество по распространению политических и научных знаний. В нем были действительные члены и члены-соревнователи. Так вот в Клубе рахитов - свои «действительные рахиты» и «рахиты-прихлебатели». Защищались и «диссертации». Например: "Методы торможения на лыжах". Диапозитив: "Торможение тыком (головой в сугроб), дубом (влетает в дерево), и плугом (упав, враскорячку)".

Кончилось тем, что президента этого шуточного клуба, известного академика, вызвали в горком партии и объяснили: - У нас есть спортивные общества: "Буревестник" и другие – вот и вступайте туда. А насмехаться над советским спортом мы вам не позволим.

Рассказывали, что в другом техническом институте в мужском туалете над писсуаром, который был больше других, появляется надпись "Писсуар имени ..." - и имя нелюбимой замдеканши.

У нас веселья было меньше. Хотя...

В нашей группе учился Женя Лабазанов. По-русски он говорил не очень хорошо, поэтому лекции записывал очень старательно. Ходил слух, что в своей роте он когда-то был осведомителем. Уверен, что это неправда, - парень был хороший. Как-то наша преподавательница английского долго разносила нас за лень и плохие знания. Увидев, что он пишет:

- Лабазанов, я уже давно ничего не объясняю. Что вы все время записываете?

- А я всё записываю, всё!

Мы покатались со смеху.

## На стройках и в военных лагерях

Летом месяц проводили на стройках колхозных электростанций. В Ефимовском районе, кажется, в самой отдаленной части Ленинградской области, возле сел Михалёво и Пожарищи. Считалось – дело добровольное. Но вы же понимаете...

Делали самую примитивную, но и самую тяжелую физическую работу: рыли котлован. Работали до изнеможения, под палящим июльским солнцем, с утра до вечера. Бывало, и по двенадцать часов. Но с задором – молодые были, сил и энергии много.

Делалось все непродуманно, без четкого плана. По временам приходил прораб, чистенько одетый, можно даже сказать, элегантный. Наши девчонки прозвали его: Анатолий Пожарищенский. Посмотрит сверху, как мы возимся с тачками и лопатами на дне котлована, и молча уходит. Если кто-то из наших догонял и спрашивал: - Может что-то не так? Он снисходительно бросал в ответ: - Да всё не так.

За работу нам не платили. Считалось, что районное начальство делает одолжение – кормит.

Потом, как-то зимой, послали меня в те места читать колхозникам лекции о международном положении. Я разговаривал с председателем сельсовета. Он признался:

- Да какая нам была польза от вас? Работа электростанции ведь рассчитана на такой уровень воды, какой у нас бывает раз в несколько лет.

Уставали. Особенно девочки. Не по ним эта работа.

В 1950 году, помню, вышли мы из поезда и стали искать грузовики, которые повезут нас на стройплощадку. А нам:

- Какие грузовики? С песнями!

Дошли. И действительно пели. По утрам, по дороге к котловану, девочки запевали песню польских солдат:

Чье-то сердце загрустило,  
Знать, любить оно хотело...

Может и хотелось, но выматывались так, что едва доползали до заброшенной церкви. Спали там вповалку.

... Два раза, после второго курса и четвертого, - военные лагеря. На Карельском перешейке, возле заброшенной линии Маннергейма, где раньше шла советско-финская

война.

Студенческий батальон. Относились к нам вполне сносно. Слова «дедовщина» тогда и не знали. Среди нас были студенты, что прошли войну солдатами. Но и они высокомерия не проявляли. Старшину нам дали по фамилии Свечкарь. При первой же встрече он нам объяснил:

- Что вы понимаете в жизни, скуденты. Меня вот на побывку домой на двенадцать дён пустили, тринадцать девок спортил.

Ничего прямо худого он нам не сделал. Но все-таки за наглость, хамоватость юристы (был у нас взвод с юрфака) устроили ему «темную».

Надо было нас и политически подковывать – как же без этого?. Шла тогда, летом пятидесятого, шумная кампания сбора подписей под Стокгольмским воззванием борьбы за мир. На лекции – читал ее полковник, считавшийся самым подкованным в дивизии, просветил нас:

- Есть такая маленькая страна, у нее еще три названия: Таи, Сиям и Талейран. Так вот даже там развернулась кампания борьбы за мир!

На марше тоже пели, но тут уж без вольностей – то, что велели.

Стройной колонной рота идет,  
Боевое знамя рота несет.  
К мировой победе, смелее в бой,  
Береги честь границ, советский часовой.

Как-то не задумывались: какая граница, если мировая победа!?

В другой песне слова моряка: - Я в записке из Сиднея напишу три строчки.

Что-то не видел я тогда моряков, которые бывали в Сиднее, и еще писали оттуда записки.

Ну, а сами мы любили петь:

И только пыль-пыль-пыль  
От шагающих сапог...

Не все знали, что это Киплинг. Так же, как не все сейчас знают, что известный романс в фильме Рязанова «Жестокий романс» – тоже Киплинга.

Меня в лагерях выучили на пулеметчика. Может, и полезная профессия, но, к счастью, не пригодилась, так что утратил я эти навыки.

## Последние сталинские месяцы

Как же странно мне было, мой Отчий Дом,  
Когда Некто с пустым лицом  
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том  
Я не сыном был, а жильцом.

*Галич*

Те месяцы – ожидание чего-то страшного и непредсказуемого. Август 1952-го мы провели в военном лагере на Карельском перешейке. Знали только то, что писали в газетах. А с сентября-октября на нас обрушились волны слухов. В Корейской войне все идет не совсем так, как в газетах. Процесс Рудольфа Сланского в Чехословакии, инспирированный из Москвы. О съезде партии, проведенном в октябре, официально сообщалось с барабанным боем. А по слухам, было там и какое-то закрытое заседание, на котором Сталин ополчился даже на Молотова и Микояна, чьи имена в нашем сознании неразрывно связаны с его именем...

Радужные перспективы по окончании университета мне не мерещились. И не только из-за фамилии. Ведь кто я? У одного из моих ближайших друзей отец – адмирал, у другого – главный редактор крупного московского издательства, у третьего – член-корреспондент. А я? Сын ссыльного. Безотцовщина. У отца – давно другая семья.

Но именно тогда, на пятом курсе, я впервые занялся своей дипломной работой по-настоящему. Хотелось зарыться в работу.

Я был членом профкома университета, отвечал за студенческие научные общества всех факультетов. Дали мне свободное расписание, мог не ходить на лекции. Зато заседания, собрания – каждый божий день.

Я взмолился. Сказал в профкоме, что по моей теме материалы есть только в Москве. Сжалились, отпустили. И вот я месяц каждый день сидел в студенческом зале Ленинской библиотеки, с девяти утра до ночи – закрывалась она тогда очень поздно. Потом - в ленинградской Публичной библиотеке - там, наконец, разобрали большую коллекцию британских «синих» и «белых» книг.

И тут - раскат грома – газета «Правда» за 13 января 1953-го – с официальным сообщением о «врачах-отравителях». В подавляющем большинстве – евреи. В том, что евреям придется плохо, сомнений не было. Говорили, что уже решено отправить их куда-нибудь подальше, в Сибирь. Под предлогом – спасти от накопившегося против них

народного гнева.

Все это чувствовали и студенты. В группе моих друзей из Политехнического был Герка Доброборский. В феврале 53-го он лежал в больнице с неизлечимой болезнью. Врачи говорили, что жизни ему осталось несколько недель. А тут в ленинградской газете "Смена" появилась о нем статья. Будто он, взяв бюллетень, отправился на Кавказ и чем-то спекулирует. А прикрывает его "тетя Циля".

Он безумно любил Иру Веригину. Я знал ее еще по 216-й женской школе. От нее мы и узнали, что эта статья его добила. Он не прожил и обещанных трех недель.

Опровержение в газете "Смена" появилось. Конечно, уже после смерти Сталина и официального признания, что «дело врачей» - выдуманное. Но какое! В рубрике «По следам наших выступлений» - одна строчка: факты, приведенные в фельетоне, опубликованном такого-то числа, «не подтвердились». Все. Ни названия фельетона, ни имени Доброборского.

Опасность нависла, конечно, не только над евреями. Известно, что в истории нашей страны антисемитизм, может быть, еще больше, чем любая другая разновидность ксенофобии, всегда шел в одной связке с кампаниями против интеллигенции, против либеральных влияний и Запада. Среди интеллигенции нашлись те, кто ликовал из-за очередной вспышки антисемитизма (убирают конкурентов!), мне кажется, таких было меньшинство. Другие же видели в этом начало нового 1937-го.

Как было мне, с моей фамилией? И до постановления я был уверен, что места для меня, во всяком случае по моей профессии, не найдется, не только в Ленинграде, но и вообще где бы то ни было.

И вдруг – искра надежды. Бывают же чудеса!

Весной 1952-го я познакомился с биологом Павлом Викторовичем Терентьевым. Он был проректором Ленинградского университета. После лысенковского разгрома генетики долгое время – безработный. Потом взяли в Вологодский пединститут, но, кажется, на птичьих правах. Мудрый был человек. Политики старался не касаться, обо всем говорил сдержанно: однажды его чуть не посадили за какие-то высказывания в письмах. Я его встретил, когда гостил в Вологде у Игоря Кона, моего ближайшего друга.

В 1952-м ему повезло. Предложил работу Папанин. Папанина тогда назначили

начальником биологической станции на Рыбинском водохранилище. Создавали ее в селеньи Борок, возле имения народовольца Морозова.

Как Папанин там оказался? Почему его понизили? Ходили разные слухи. Но факт – после Главсевморпути стал директором биостанции в далеком Борке.

Правда, дело считалось важным. Среди «Великих строек коммунизма» намечалось строительство громадных водохранилищ на Волге и на Дону. Необходимо было изучить опыт Рыбинского водохранилища, созданного еще до войны.

Папанин в этом ничего не понимал. И набрал видных ученых – недобитых «морганистов-менделистов-вейсманистов». А своим заместителем назначил Терентьева.

Уезжая из Вологды, Терентьев сделал мне блестящее предложение.

- Вы кончаете университет. Приезжайте к нам в Борок. Будете директором Дома-музея народовольца Морозова. Работа не очень утомительная: 15-20 экскурсий в год для соседних школ. Так что придется вам и библиотекой заведовать, когда ее создадим. Ну, а главное – нам ведь надо будет проводить политинформации. Дадут какого-нибудь дундука из райкома, а то и из сельсовета. Лучше бы – Вы. Подумайте. А купанье тут! Вы ж это так любите. К тому же наша станция – в составе Академии Наук. Можете прикрепиться в аспирантуру какого-нибудь московского института. И еще немаловажно – окружение! Не просто профессура – по-настоящему интересные интеллигентные люди.

Бог ты мой! Это же – манна небесная! Подарок судьбы!

Но... процесс «врачей-отравителей». И в феврале я получаю от Терентьева письмо на официальном бланке. Храню его до сих пор. «Глубокоуважаемый Аполлон Борисович! К сожалению, Иван Дмитриевич Папанин предпочел специалиста по русск ой истории». Памятуя прошлые злоключения со своими письмами, Терентьев очень официален. Но слово «русской» дал разрядкой, чтобы я понял.

С Терентьевым я встречался не раз и потом. Он говорил, что очень настаивал на моей кандидатуре. Но Папанин был непреклонен.

Я всё понимал. В феврале 1953-го меня бы не взяли на работу никуда. Так чего же

винить Папанина.

Потом я лучше узнал его биографию. В 1920-м, когда в Крыму расстреляли тысячи «белых» офицеров, он был одним из руководителей Крымской ЧК.

И еще. Десятилетия спустя в Южной Африке, кейптаунский публицист Джон Кенч подарил мне свою книгу «Предатель на льдине». Это пьеса о той самой экспедиции, которую мы называем папанинской. В предисловии автор говорит, что Папанин от НКВД следил за остальными тремя учеными. И что якобы в первом издании записок Папанина, которое сразу же изъяли и заменили новым текстом, была фраза, ставшая расхожей и злободневной шуткой (годы-то были – 1937-1938-й): «Я на льдине, но ведь должен же и тут быть где-то предатель!». <sup>xix</sup>

Я удивился. Но удивился и Джон Кенч: - Конечно, у себя в СССР вы могли и не знать, но весь-то мир знал!

Ну, да Бог с ним, с Папаниным. Но мне-то тогда, в первые месяцы 1953-го, что было делать? Могут ведь вообще не дать никакого направления на работу. А в те времена, если у тебя в анкете – высшее образование, дворником тебя по закону не имели права взять. Будешь безработным. А как известно, в Советском Союзе безработных нет. Значит, ты – тунеядец. Раз тунеядец – обвинят и сошлют, куда Макар телят не гонял.

Вот я и принялся писать письма. Писал во все концы: в Ташкент, в Дзауджикау, Владикавказ, Новгород... с предложением своих услуг в качестве учителя истории, в любой деревне. Отовсюду получил ответы на официальных бланках: школы нашей республики (области) преподавателями по Вашей специальности укомплектованы. Вполне вежливо. Единственное место, откуда не получил ответа, – Новгород.

5 марта Сталина не стало. Через месяц дело «врачей-отравителей» признали клеветническим. В мае на защите дипломных работ я получил пятерку и рекомендацию в аспирантуру. На истфаке была вакансия аспиранта для нашей кафедры. Был и кандидат, это ни для кого не было секретом -: парторг курса. Но дипломная работа у него оказалась не очень удачной, и рекомендацию в аспирантуру ему не дали. Вакансия... тут же исчезла. А мне, дав рекомендацию, в сущности, в пространство, дали еще и направление на работу в распоряжение Новгородского облоно – на случай, если с аспирантурой не получится.

Как быть? На весь Ленинград только одна вакансия по новой и новейшей истории - в пединституте имени М.Н. Покровского. Я пришел к завкафедрой профессору Бунакову.

Бунаков говорил со мной почти час. Я сказал, что хочу заниматься англо-бурской войной. Рассказал, какие и где есть об этом документы. Он меня внимательно слушал, а потом:

- Знаете, на нашей кафедре аспирантами могу руководить только я. А я могу руководить по истории Европы, Америки, на худой конец – Азии. По Африке – не могу.

Я объяснил, что у меня нет выхода. Вакансия есть только тут. Рекомендация у меня есть. Так что я подам документы, и приду на первый экзамен – по специальности.

- Придти, конечно, можете. Но, боюсь, больше тройки поставить Вам не смогу.

Я пришел, получил свою тройку. А аспиранту, которого взяли на это место, дали тему: «Англо-бурская война». Правда, через год Бунаков тему заменил. Узнал, что англо-бурской войной хочет заняться крупнейший германист А.С. Ерусалимский. И почел за лучшее отойти в сторону.

Итак, в Ленинграде шансов нет. Но узнал, что в Москве, в Институте истории, объявлен прием. Вакансии по Африке, конечно, нет, как и в других исторических заведениях. Но есть по Англии. А значит, думал я, и по британской колониальной политике.

Как всегда, посоветовался с Мавродиным - он к тому времени уже вернулся в Ленинград. Отнесся тепло, но:

- Боюсь, результат будет один. Вы потратите двести рублей (тогда билет в одну сторону стоил сто) и вернетесь ни с чем.

Как меня приняли в аспирантуру, до сих пор понять не могу. Но – приняли. По истории Великобритании.

Но вскоре там кого-то осенило. Потребовали справку из Новгородского облоно, что там от меня отказываются. Поехал. Пришел к заведующему облоно. В кабинете - полно народу. Когда я обратился со своей просьбой, оказалось, что Новгородской области я нужен позарез. Я сказал, что в феврале, то-есть всего полгода назад, я писал сюда, но мне даже не ответили. Заведующий был абсолютно уверен, что я вру, и решил показать собравшимся у него в кабинете, с какими лгунами ему, бедному, приходится иметь дело.

Он приказал секретарше принести папку переписки за февраль и стал ее картинно листать. Письмо мое нашлось, с его резолюцией: «Отказать».

Конечно, он мог бы сказать: - Да, тогда было так, но сейчас Вы нужны.

Но, видно, совесть все-таки у него была. Не поднимая на меня глаз, он написал на моей просьбе: «не возражаю».

У него учился заочно

Учителей сожрало море лжи  
И выплюнуло возле Магадана.

*Высоцкий*

Мыс Доброй Надежды, Кейптаун, Трансвааль, Замбези, Лимпопо... Все эти слова я с детства знал по романам Райдера Хагарда, Луи Буссенара, Жюль Верна. «Питер Мориц, юный бур из Трансвааля». Растрепанные старые журналы «Нива», «Всемирный следопыт». Песня «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне».

Да еще мама много раз вспоминала рассказы доктора, с которым она в 1921-м работала в тифозном госпитале в Самаре. Он когда-то, еще в 1900-м, в англо-бурскую войну работал в русском госпитале в Трансваале.

Но мне-то, первокурснику истфака конца сороковых, – какое до всего этого дело? Дальнее прошлое, на далеком, чужом краю земли. Любопытно, конечно. Старая колониально-приключенческая романтика. Но, казалось бы, не до того. И все же...

Приближали меня к ней африканские стихи Гумилева. Но только стихи. О его путешествиях я тогда знал мало, да и откуда – нигде о них не писали. В школе, на уроках географии рассказывали о Ливингстоне и Стенли, и то - вскользь, между прочим.

Людей, которые там бывали, я никогда не видел. Откуда им было взяться? Я и представить себе никогда не мог, что когда-то там окажусь.

Но получилось, что именно этими-то далекими краями я и занялся, тогда, зимой 1948-49-го.

Больше всего привлекла меня история Южной Африки конца Девятнадцатого века – то, что я знал и по романам и по фильму «Трансвааль в огне». Встал вопрос – кто из преподавателей может руководить этой работой.

На истфаке был только один преподаватель, занимавшийся близкой темой. Доцент Михаил Борисович Рабинович (1907-1997). За несколько недель до войны он защитил

кандидатскую диссертацию «Набег Джемсона (из истории возникновения англо-бурской войны 1899-1902 гг.». К тому же у него была слава и хорошего ученого и доброго человека. Я решил обратиться к нему.

Но... 25 апреля 1949-го его арестовали. За что - никто не знал. Да и сама постановка вопроса "за что?" вызывала ироническую улыбку. Слишком памятен был анекдот времен ежовщины: - Тебе сколько дали? - Двадцать пять. - А за что? - Ни за что. - Ну, ты даешь! Ни за что у нас десять дают...

Беда, как известно, не приходит одна. В Ленинграде тогда были всего три историка, как-то занимавшихся Южной Африкой.. И все три оказались под ударом.

Конечно, особой цели – бить по африканистике – у властей предрежащих не было. Просто, как и специалисты многих других областей, они попали под паровой каток «ленинградского дела» и кампаний борьбы с «космополитизмом», «низкопоклонством перед Западом» и .

Первым досталось Вениамину Яковлевичу Голанту. Зимой 48-49-го он защитил диссертацию «Восстания в африканских колониях Германии». Все прошло благополучно. Степень присудили. Но через несколько недель Мавродин - уже не декан и не председатель Ученого совета. Новый декан, Корнатовский, собрал Ученый совет и степень у Голанта отняли: не показал де хищный оскал звериного лица американского империализма. Американцы к тем африканским делам первых лет Двадцатого столетия, как говорится, - ни сном, ни духом. Но началась холодная война и их надо бы клеймить за все и винить во всем. К тому же у Голанта нашли и еще одну провинность: он по-временам называл африканцев туземцами, а в одном месте – о, ужас! - чернокожими.

Голант потом добивался восстановления степени два или три раза. На последнем обсуждении академик Струве, член Ученого совета, сказал ему:

- По сравнению с Вами Одиссей не был таким уж страдальцем.

Когда арестовали Михаила Борисовича, его аспирант Александр Лазаревич Витухновский завершал диссертацию: «Россия и англо-бурская война». Первая серьезная работа об отношении России к той войне, о всех хитросплетениях тогдашней русской государственной политики, пытавшейся использовать эту войну против заклятого соперника – Великобритании. Потом по этой теме писали многие, нередко с «патриотических» позиций: какая Россия была хорошая и добрая, как помогала несчастным

бурам. Витухновский, надо отдать ему должное, дал объективный анализ: и о доброте и бескорыстии российской публики написал, но и о той англофобии, которая царила тогда в российских верхах да и в других слоях общества.

Но существо работы мало интересовало тогдашнее университетское начальство. Думали о другом: разрешить ли защиту аспиранту, у которого арестовали научного руководителя.

После летних каникул на доске объявлений Ученого совета появилось объявление о защите диссертации Витухновского. Внимание привлекла не тема диссертации. Да и диссертанта не так уж многие знали - он был не преподавателем, а аспирантом. И все-таки, проходя, каждый раз бросали взгляд на объявление: висит, или уже сняли. По углам шушукались: защиту, мол, наверняка отменят. Не может же начальство разрешить, если научный руководитель осужден. К тому же документы к защите якобы были у Рабиновича дома, и во время обыска их забрали вместе с другими бумагами.

Но в назначенный день, 4 октября 1949 г., защита состоялась! Потом мы узнали, что Михаил Борисович упросил следователя переслать в университет документы, изъятые при обыске. Бог ты мой! В такой момент человек думал о судьбе своего аспиранта! Да и благодеяние ли это? Ведь по тем временам нетрудно представить, к каким последствиям могли привести рекомендательные письма из тюрьмы... Защиту могли отменить. Абы чего не вышло. Но в привычном механизме бдительности что-то не сработало.

О продолжении работы, конечно, не было и речи. В Ленинграде Витухновского не оставили. Отправили в распоряжение Петрозаводска, где ни архивов, ни каких-либо других материалов по этой теме не сыскать.

Когда шла защита, Михаил Борисович вместе с сокамерниками ждал амнистии. По тюрьмам ходил слух: амнистия будет к 7 ноября, тридцать второй годовщине Октябрьской революции. Потом - к 21 декабря, семидесятилетию Сталина. Но все надежды оказались беспочвенными. Амнистия была объявлена только после смерти Сталина, весной 53-го. И Михаила Борисовича выпустили.

Тогда только мы узнали, за что он был осужден. Оказалось - за разглашение военной тайны. Его приговорили к восьми годам лишения свободы по указу Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1947 г. "Об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну". В конце войны, в армии, он

получил задание командования составить хронику боевых действий Ленинградского фронта за 1941-1943 годы. Но с началом "ленинградского дела", с арестом всего городского руководства, с ликвидацией Музея обороны Ленинграда, все связанное с блокадой и событиями того времени на Ленинградском фронте, стало секретным.

... Все три диссертации безусловно были достойны публикации. Но ни одна так и не увидела света. Витухновский издал две статьи в ученых записках Петрозаводского университета. Рабинович, выйдя из тюрьмы – тоже две статьи, Голант – и того меньше. Уже в шестидесятых годах, я, став членом редакционного совета Издательства восточной литературы, ставил вопрос об их издании, но мне объясняли и, увы, резонно, что работы, подготовленные в сороковых, нуждаются в очень большой доработке: появилась новая литература, опубликованы неизвестные ранее документы, появился какой-то доступ к архивам. Требуется большая дополнительная работа. Ни у кого из авторов и времени не было, да и отгорело.

А что мне было делать? Витухновский уехал. Голанта в университет не взяли.

И пошел я в научный кабинет университета – читать работу Михаила Борисовича. Диссертация была в рукописи. Если бы у него были книги или статьи, их бы, конечно, засекретили. Но публикаций у него не было. Защитив диссертацию, он ушел на фронт. Воевал все четыре года. Не сразу демобилизовался. И ничего не успел опубликовать.

Я взялся за диссертацию. Она-то и дала мне выход в тему.

### Путь в африканистику

На юге Африки в конце Девятнадцатого века открыли крупнейшие в мире месторождения алмазов и золота. Какая свара тут же началась!

На алмазные россыпи стала претендовать бурская республика Трансвааль. Но сразу же выяснилось, что никаких прав у нее не было и быть не могло. Права могли быть только у Англии! О местных африканских народах, которые издавна жили в тех местах, речи вообще не было.

Но золото-то нашли в Трансваале. В конце 1895-го вооруженный отряд англичан во главе с Л. Джемсоном попытался захватить Трансвааль. Возник международный скандал. Германский кайзер Вильгельм отправил Великобритании ноту, сильно смахивающую на ультиматум. В общем, общеевропейский скандал!

Но привлекло меня другое - скандалов-то в международной истории – несчетное число!

В диссертации я увидел то, чего так недоставало в трудах по истории – людей и их судьбы. Сами участники, может быть, не так уж приятны. Но их жизнь – об этом мало, кто тогда писал.

В центре повествования - Сесил Родс. Его имя когда-то не сходило со страниц газет всего мира, в том числе и русских. Это его помощник Л. Джемсон попытался захватить Трансвааль. Родс был уже не только королем алмазов и золота, но и премьер-министром Капской колонии, важнейшего британского владения в Африке. Две захваченные им страны уже носили его имя: Южная Родезия и Северная Родезия (теперь – Зимбабве и Замбия). Завершилась эта схватка англо-бурской войной, крупнейшим в мире вооруженным конфликтом на рубеже Девятнадцатого и Двадцатого столетий.

В те времена историков призывали изучать процессы общественного развития, формации, классовую борьбу – разумеется, с марксистских позиций. А сами люди оказывались вне поля зрения. Их повседневная жизнь, характеры. Кое-что, конечно, допускалось. Сталину, например, захотелось, чтобы возвеличивали роль личностей в истории. И появился «Наполеон» академика Тарле. «Петр I» Алексея Толстого. Но это были исключения.

А мне хотелось посмотреть на исторические события именно через людей. Это было куда интереснее. А, может быть, - и неосознанный протест против того, что навязывалось.

Меня заинтересовал Сесиль Родс. Какая колоритная личность!

Да и сам автор диссертации – тоже. Судьбы тех, кого преследовали, были мне ближе - перекликались с историей моей семьи.

Все, что я слышал о Михаиле Борисовиче, и его арест (мы все были уверены, что несправедливый) – не мог же такой человек заняться недостойной темой!

И я пошел по его стопам. Конечно, Михаил Борисович не мог знать всей многогранности тех событий. Взял лишь один эпизод: нападение Джемсона на Трансвааль. Но как-то коснулся и других сторон этой схватки.

По этой диссертации я и учился работать. Потом, через несколько лет, понял, что сделана она была не на документах, не на первоисточниках, а на нескольких английских книгах. Источники были рядом - в ленинградской Публичной библиотеке. Там, в отделе

полиграфии, громадная коллекция британских «белых» и «синих» книг, в том числе и по южноафриканским делам, да и множество других ценнейших документов. Но до войны, когда Михаил Борисович готовил диссертацию, пользоваться этим было невозможно. Коллекцию «синих» и «белых» книг разобрала и привела в порядок библиотекарь Бортновская в начале пятидесятых, и я оказался одним из первых читателей, которым это богатство стало доступно.

Все же основную канву событий Михаил Борисович изложил верно.

Написана диссертация была хорошим языком, ярко, интересно, без излишнего наукообразия. Недаром Михаил Борисович был учеником академика Тарле, автора «Наполеона», самой читаемой тогда исторической книги.

Его диссертация не только привила мне интерес к тем событиям, но и повлияла на мой стиль. Я не люблю длинных, тяжелых фраз с причастными и деепричастными оборотами, обилия иностранных терминов и того сугубо наукообразного языка, который, кажется, все больше входит в моду.

Занятия Югом Африки легкой жизни не сулили. Зачем была тогда Африка советской геополитике, а значит и историческим штудиям? Один из ведущих деятелей международного отдела ЦК КПСС вспомнил потом, как к Сталину кто-то сунулся с развернутой программой советских действий в Латинской Америке. Сталин послал его на три буквы и бросил:

- Тебе что, делать нечего?

Сталину надо было переваривать приобретения в Восточной и Центральной Европе, в Азии. До Африки ли? Правда, на Парижской мирной конференции 1946-го при разделе итальянских колоний Молотов пытался получить мандат ООН на опеку над Киренаикой и Триполитанией (Ливией) или над какой-нибудь другой из итальянских владений. Ничего не вышло. Но это было, пожалуй, единственное, что в первые после войны годы интересовало в Африке авторов советской внешней политики.

Помните послевоенную песню: «И Африка нам не нужна». Ну и знания о ней, естественно, тоже.

Вот учебник «Новая история» для девятого класса. По нему училась вся страна – учебник был единый. Издание 1949 г., «исправленное и дополненное». О «Черной Африке» – неполных две страницы. Но как там показана Африка? Сказано, что бельгийцы, захватив

Конго, требовали от африканцев собирать и сдавать каучук и строго наказывали за невыполнение. «Если деревня не доставляла требуемого количества каучука, туда посылался карательный отряд. Иногда войска набирались из негров, принадлежавших к племенам, у которых ещё существовало людоедство. Им позволяли поедать неплательщиков каучукового налога».

И завершение абзаца: «В момент захвата Конго там насчитывалось около 20 млн жителей, к началу XX века осталось всего 8-9 млн человек».<sup>xx</sup>

Идея очевидна - показать, какие ужасные колонизаторы: позволяли людоедам поедать людей. Но школьнику-то, приходило в голову совсем другое: африканцы - дикари - поедает друг друга миллионами.

Этот учебник издавался каждый год, еще много лет. В 1962-м – с тем же текстом. А писал это крупнейший специалист по международным отношениям – В.М. Хвостов, академик и директор Института истории.

Так что, естественно, на истфаке Ленинградского университета - никакого интереса к Африке. А для меня - никакой надежды получить руководителя.

Завкафедрой доцент Брюнин сказал мне:

- Мы-то считали Вас толковым студентом, а Вас занесло в археологию.

Сам он занимался Восточной Германией – Германской Демократической Республикой, созданной в 1949-м. Так что Африка полувековой давности для него была археологией.

К тому времени я уже ходил на консультации к профессору Дмитрию Алексеевичу Ольдерогге. Он заведовал кафедрой африканистики на востфаке. И согласился быть моим научным руководителем. Но для Брюнина это был не аргумент. Ольдерогге он считал этнографом и лингвистом, а не историком. К тому же Ольдерогге занимался Тропической Африкой, а не Южной. Но дело, скорее всего, сводилось к бюрократии:

- Я не могу часы преподавательской нагрузки отдавать на другой факультет!

Ольдерогге, когда я ему это рассказал, рассмеялся:

- Тем лучше, нас с вами не будут тяготить казенные узы.

Но без руководителя - не положено.

И тут – открылась другая дверь. Из Москвы прислали нового заведующего лекторской группой горкома партии. Из-за «ленинградского дела» ленинградцев тогда снимали, начальников присылали из Москвы. Этот человек, Константин Павлович Вощенко, был доцентом. Университет ему, из подхалимажа, предложил полставки на истфаке. Читать лекции на истфаке у него, конечно, не было времени. Но руководить курсовыми и дипломными работами согласился. Почти у всех студентов руководители уже были. Встретив его в коридоре, я напросился:

- Не могли бы Вы руководить моей работой?

Его собственная диссертация была, кажется, по Дунайской проблеме после второй мировой войны. Но согласился, удивившись, правда, зачем мне Африка.

Жилось мне с ним спокойно. Он мне не мешал. А консультироваться я ходил к Ольдерогге.

Так я и написал дипломную работу. Называлась она: «Английское завоевание Родезии». Это была весна 1953-го.

Михаил Борисовича освободили вскоре, летом. Я сразу же постарался его найти. Все ему рассказал. Принял он меня, как сказали бы в Девятнадцатом веке, душевно. До самой его смерти, отношения у нас были самые теплые, и я считал себя его учеником.

Прожил он еще сорок лет – можно этому лишь удивляться. Но научную жизнь ему поломали. В университет обратно не взяли. В 1953-м он ведь был только амнистирован. Реабилитация пришла позднее. Да и коллеги по кафедре не очень его хотели - он был куда ярче, интереснее, с необычными взглядами. Вот и перебивался. На работу брали то в пединститут, то в Библиотечный институт, то на кафедру Ольдерогге, но всегда не на полную ставку, и в каком-то полуофициальном статусе.

Сам он относился к этому стоически:

- Вы хотите, чтобы человеку с фамилией Рабинович везло? А вы видели когда-нибудь в наших фильмах или пьесах героя с моей фамилией? Или с именами Абрам и Сара?

Помогали ему его энциклопедические знания. Он писал комментарии к собраниям сочинений западных классиков литературы. Составлял словарь античной мифологии. Помогали ему печататься в разных издательствах друзья – в них у него недостатка не было.

\* \* \*

Михаилу Борисовичу я обязан и тем, что он представил меня своим друзьям. Самым

дорогим подарком стало знакомство с Владиславом Михайловичем Глинкой. Один из самых интересных и милых людей, которых я встретил в жизни. Когда-то мечтал написать о нем, но его племянник, писатель Михаил Глинка, опередил меня - выпустил о нем два тома воспоминаний и документов.

В знании русского быта Девятнадцатого -начала Двадцатого века равных Владимиру Михайловичу не было. Он не любил показывать свое превосходство и демонстрировать ошибки других, но Солженицыну в связи с выходом его «Августа 1914-го» все же написал – и перечислил 499 неточностей.<sup>xxi</sup>

Приезжая в Ленинград, уже в семидесятых, я неизменно заходил к нему на Миллионную, недалеко от Эрмитажа, где он работал десятки лет. Мне всегда не терпелось рассказать ему о том, что я сделал со времени нашей последней встречи, выложить, что интересного раскопал.

Он слушал очень внимательно, не перебивая. А потом выяснялось, что все это он знает куда лучше меня. Так было, когда я ему рассказывал о своих находках из жизни Марии Игнатьевны Закревской-Бенкендорф-Будберг, которая в двадцатых годах была неофициальной женой Горького, в тридцатых - Герберта Уэллса, да и вообще была женщиной с поразительной биографией. Берберова опубликовала о ней интересную, но не очень доброжелательную книгу «Железная женщина». Но мне удалось узнать многое, чего Берберова не знала.

Что я и рассказал Глинке. Он выслушал, а потом сказал, как бы между прочим:

- Все верно. Вот в том кресле, где Вы сейчас, она как раз и сидела.

Оказывается, Будберг, уже в возрасте, консультировала какой-то английский фильм по рассказам Чехова. И ей нужно было представить, как выглядела толпа, гуляющая по набережной волжского города: чиновник, писатель, мастеровой. Лучшего знатока, чем Глинка, ей было не найти. Вот она и приезжала к нему из Лондона.

В другой раз я раскопал материалы об участии российских добровольцев в англо-бурской войне. Мне казалось, что-то уникальное. Радовался. Долго рассказывал. Глинка опять внимательно меня выслушал. Потом взял листок, написал адрес.

- Вот, идите. Михаил Иванович Стеблин-Каменский. Мой старый друг.

- Зачем?

- Он Вам все объяснит.

Ну, о Стеблине-Каменском я, конечно, слышал. Читал его книгу о мифах. Но тут-то – зачем?

Приехал. Оказалось, что Алексей Ганецкий, глава «Русского отряда» в англо-бурской войне, был дядей Стеблина-Каменского.

Потом, когда Михаила Ивановича уже не было в живых, его сын, академик Иван Михайлович Стеблин-Каменский, прислал мне копию письма, которое он получил от отца после моего визита. Отец попросил сына найти для меня фотографию «дяди Алеши». Михаил Иванович был объективен. Мог бы представить своего дядю только героем, бросившимся защищать несчастных буров от коварной Англии. А он выразился о нем весьма нелестно: «повидимому, больше кутил, чем воевал».

\* \* \*

В январе 1997 г., в Йоханнесбурге, крупнейшем городе Трансвааля, состоялась международная конференция историков в связи со столетием "набега Джемсона". Южноафриканцы подготовили к юбилею библиографию, и оказалось, что работа Михаила Борисовича - первая диссертация на эту тему во всей мировой исторической литературе.

Перед этим я попросил Михаила Борисовича написать мне, почему он еще в середине тридцатых выбрал такую тему. Он прислал мне письмо из Петербурга 10 мая 1996 г., через шестьдесят лет после того, как начал работать над диссертацией. «Посылаю сказ о том, как Рабинович про Джемсона сочинял», писал он. «Тема диссертации, можно сказать, пришла из детства, с самых юных лет, когда я много читал про всякие путешествия и приключения и, конечно, о тех, что связаны были с Южной Африкой. Этот кусок земли меня особенно привлекал. Попадались самые разнообразные издания, среди которых, конечно, и "Копи царя Соломона" Райдера Хаггарда, и путешествия Ливингстона, Стенли, и более ранние странствия, связанные с "открытием" мыса Доброй Надежды и первыми плаваниями вокруг черного континента. Но из всей этой литературы наибольшее впечатление на меня произвел роман Нимана "Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля". Книгу эту я прочитал без сокращений, сделанных затем в угоду советской цензуре. Естественно, что за ней последовали книги, связанные с Англо-бурской войной (воспоминания П. Крюгера, Девета и др.), и еженедельные журналы, каких дома было много.

Все это, казалось, осталось в далеком прошлом, как воспоминание, но получилось не так».

На конференции я зачитал письмо, а потом рассказал участникам о Михаиле Борисовиче во время экскурсии, устроенной по маршруту похода Джемсона. Все искренне сожалели, что этого человека нет на конференции, и что злая судьба вообще не дала ему повидать Южную Африку. В начале февраля, ему исполнялось 90 лет, и все дружно попросили меня поздравить его.

Несколько десятилетий Михаил Борисович писал свои воспоминания, которые он когда-то называл "мемойрес".

Вышли они в 1996-м. Слава Богу, успел порадоваться своей книге. 30 июня 1996-го он написал мне: "Рад, что наконец мои воспоминания дошли до Вас, и в печатном виде, и что они Вам интересны... Я потихоньку (увы, очень потихоньку) продолжаю воспоминания, хотя все труднее вспоминать, многое исчезло напрочь. К счастью, начерно я довел до семидесятых-восьмидесятых годов и не успел обработать из-за проклятой болезни".

Увы, в опубликованных им воспоминаниях событий семидесятых-восьмидесятых годов нет. В книге<sup>xxii</sup> речь идет в основном о событиях Отечественной войны, в которых он участвовал.

\* \* \*

Дипломную работу, а затем и кандидатскую диссертацию я назвал: «Английское завоевание Родезии». Вторая половина диссертации была опубликована в апреле 1958-го. К сожалению, первую половину – об английской колониальной политике, начальство изъяло, оставило только сопротивление африканцев колониализму. И книга вышла под названием «Матабеле и машона в борьбе против английской колонизации». Тогда меня это расстроило. Михаил Борисович успокаивал, напоминал о своих зловключениях.

Так что Сесил Родс из этой книги выпал. Но интерес к Югу Африки того времени остался у меня на всю жизнь. Искал материалы о тех событиях в отечественных архивах, и в Англии, и в самой Южной Африке. Четыре года жил в кампусе Кейптаунского университета - на земле, подаренной университету Родсом. Так что повидал те края, о которых Михаил Борисович не мог и мечтать.

Мою книгу «Сесиль Родс и его время» московское издательство «Мысль» выпустило в 1984-м пятидесятитысячным тиражом. Когда я предложил издательству «Прогресс» перевести ее на английский язык, при обсуждении моей заявки на редсовете один из начальников (мне показали протокол) сказал:

- Об этом империалисте книгу? Так скоро и о Гитлере начнем печатать!

Книгу тем не менее в «Прогрессе» перевели и выпустили - с добротными иллюстрациями, на хорошей бумаге.

Прожив несколько лет в ЮАР, поработав в архивах бывших Родезий, побывав в Ботсване, Лесото, Анголе и Мозамбике, я, естественно, нашел много нового. И в 2002-м издал новую книгу «Сесил Родс – строитель империи».

Михаил Борисович радовался каждой из моих книг. К сожалению, последней книги я ему принести уже не мог. Его не стало в 1997-м.

Потом, да и сейчас, когда думаю об обидах, перенесенных в жизни, вспоминаю Михаила Борисовича. Как же все-таки обделила его судьба!

... Так что учился я у него, можно сказать, заочно. А очно – у Дмитрия Алексеевича Ольдерогге. Он не занимался теми проблемами, которые интересовали меня. Но был патриархом отечественной африканистики.

#### Сберег свою честь

- Вот вам золотое правило. Делать надо не только то, что начальство от вас требует, но и то, что оно вам сегодня категорически запрещает. Именно это и будет завтра самым важным. И самым нужным.

А из дальнейшего следовало, что начальству вообще надо подчиняться с уразумением, иначе перепачкаешься с ног до головы. Но не надо его и слишком раздражать, а то накличешь на свою голову беду...

Все это Дмитрий Алексеевич Ольдерогге (1903-1987) говорил весело, с искорками в глазах, подкрепляя советы афоризмами Салтыкова-Щедрина или Козьмы Пруtkова.

А годы для такого острословия были совсем уж неподходящие. Сталинские!

...Я пишу в основном о людях не очень удачливых, о тех, кто не смог выразить себя или не был оценен по достоинству. - Ну а при чем тут Дмитрий Алексеевич? - скажете вы. - Член-корреспондент Академии Наук. Бессменный руководитель двух коллективов: сектора Африки в Институте этнографии и кафедры африканистики на востфаке О нем написаны бесчисленные статьи, опубликованы книги.

Можно, конечно, перечислять чины, должности, степени, звания, награды. Но мало

ли было людей, которые считались крупными учеными, добивались высоких должностей и званий... А теперь эти авторитеты рушатся, как карточные домики, лопаются, как мыльные пузыри. Или, еще хуже, вызывают брезгливость.

К тем, кто оставив позади страшные верстовые столбы дорог сталинского времени, не просто избежал гибели, но и сделал карьеру, неизбежен (пусть и безмолвный) вопрос: как удалось? Чем пожертвовали? В чем изменили себе? А если нет, как уцелели?

Напомню то, о чем как-то не очень принято вспоминать на многочисленных конференциях африканистов и на ежегодных «Чтениях памяти Д.А. Ольдерогге». Увы, тем, кто знают только опубликованные работы *Дмитрием Алексеевичем*, но не знали его лично, - трудно составить верное представление о нем, как об ученом.

Он не смог в достаточной мере выразить себя в своих трудах. Он был куда богаче, интереснее, чем можно судить по его книгам и статьям. Свои важнейшие замыслы он не смог осуществить.

Патриарх африканистики - как он повидал Тропическую Африку – то, чем занимался всю жизнь? В шестидесятых годах был три раза, в общей сложности всего несколько месяцев, в Западной Африке. Ему было тогда уже под шестьдесят. И несколько дней в Эфиопии в 1968-м, когда ему вручал орден император Хайле Селассие.

А с 1968-го до своей кончины был за границей только один раз: в Восточной Германии, в ГДР. В Африку его не пускали.

Сколько за те два десятилетия было крупных международных встреч африканистов! Ездили многие члены нашего цеха африканистики, отправляли и тех, кто к африканистике отношения не имел. А его - не пускали!

Почему? Это не принято было объяснять.

Скорее всего, причина же в том, что африканистика все больше входила в орбиту интересов «директивных органов». А их интересовали только злободневные, даже сиюминутные вопросы. Глубинными корнями происходящего не занимались – не до того. А значит, и не до Дмитрия Алексеевича. К тому же и в ортодоксальности он не клялся. Да и происхождение и фамилия – какие-то не те.

Да, он был членом-корреспондентом. Но не обольщался. Прекрасно понимал, что многих достойных ученых так никогда и не выбрали, и что в его избрании летом 1960-го сыграло роль, что это был «Год Африки». В члены-корреспонденты тогда выдвинули обоих

ведущих африканистов: Д.А. Ольдерогге и И.И. Потехина. Потехин не набрал нужного числа голосов, а Академии наук откликнуться на «Год Африки» было надо. Вот Дмитрий Алексеевич и прошел. Понимал он и то, почему та же Академия не избрала его академиком, хотя он баллотировался дважды.

\* \* \*

Долгие годы он жил под страхом репрессий.

Какие-то из рассказов Дмитрия Алексеевича мне удалось записать. Что-то знаю из его писем. Их у меня две больших папки. Что-то из писем Людмиле Алексеевне Карташовой и Ирине Ивановне Филатовой - он им много писал - и других моих коллег. Что-то из архивов. И личного архива Дмитрия Алексеевича - спасибо Ирине Андреевне Осницкой, его жене. Что-то из Архива РАН. Что-то - из архива Коминтерна. Еще интересней, вероятно, архив КГБ. Но туда у меня доступа никогда не было.

Для нас Дмитрий Алексеевич неотделим от академической науки. От этих зданий на Университетской набережной, от своего кабинета, окнами на Адмиралтейство, от фолиантов на полках старинных шкафов.

Но ведь по традициям семьи Дмитрий Алексеевич готовил себя к военной карьере. Учился в Первом кадетском корпусе, в Петербурге. Не будь 1917-го, его ждала офицерская стезя, как и всю его родню с давних времен. Завершил бы учебу в кадетском корпусе и сделал военную карьеру. Для карьеры возможности были. Отец - полковник, дядя - генерал. В доме бывали Колчак и Маннергейм. В кадетском корпусе одним из его товарищей по классу был сын великого князя Константина Константиновича (поэт К.Р.).

Дмитрия Алексеевича в советское время ни разу не арестовывали. Но чего ему стоили его "анкетные данные"?

Отец - Алексей Александрович (полное имя - Алексис Вильгельм фон Ольдерогге), участник русско-японской и первой мировой, в 1918-м вышел в отставку полковником. Остаться в большевистской России не захотел. Перешел границу, перебрался во Францию и, как сын узнал много позднее, умер в Париже в 1942-м. Ордена отца и дворянские документы Дмитрий Алексеевич и его мать, боясь обыска, бросили в один из петербургских каналов.

Не украшали его анкету и другие родственники. Правда, дядя - генерал-майор Владимир Александрович Ольдерогге - перешел на сторону красных. В 1919-м-начале

1920-го командовал Восточным фронтом, воевал против Колчака. Но в 1931-м его расстреляли, обвинив в связях с Троцким. Тетя - Мария Александровна - арестована, а затем выслана.

История семьи могла вызвать у советской власти только подозрения. Дворяне, лютеране и фамилия нерусская. Предки Дмитрия Алексеевича переселились в Россию из Голштинии в начале XVIII в. Многие из них избрали военную службу. Во время войны с Пруссией, при Елизавете Петровне, в Кенигсберг первыми ворвались солдаты подпоручика Ольдерога. Дед Дмитрия Алексеевич - участник русско-турецкой войны, генерал-лейтенант, был начальником Киевского кадетского корпуса, а до того - губернским воинским начальником в Люблине.

Большая часть семейного архива хранилась у В.А. Ольдерогге и пропала после того, как его расстреляли, а семью выслали. Но, как ни удивительно, сохранился семейный альбом, начатый еще в XVIII в. Показывая его, *Дмитрий Алексеевич* с особенной гордостью открывал страницу, заполненную рукой молодого Гёте.

1917 год всё изменил. В голодном, холодном Петрограде умер от дизентерии его брат. Семья бедствовала. Шестнадцатилетним, в 1919-м, он уже работал - в юридическом отделе Смольнинского райсовета. Тогда же окончил счетоводную школу. В 1920-1922 гг. - служба в армии. По демобилизации из стрелковой бригады Петрукрепрайона получил направление в ВУЗ с формулировкой, как он вспоминал: "При сем прилагается красноармеец Д.А. Ольдерогге".

Поступив в Петербургский университет, избрал древние восточные языки, стал египтологом. На пробуждение интереса к Востоку, может быть неосознанно, повлияла семейная коллекция редких восточных монет (хотя она сама ушла из семьи еще в 1919 г. - ее пришлось обменять на картошку и буханку хлеба). У него была возможность получить хорошую научную школу - учился у В.В. Бартольда, П.В. Эрнштедта, Н.Д. Флиттнер. Во многом помог ему и Л.Я. Штернберг.

Почему сменил Древний Египет на Африку? Как в 1917-м поворот в истории страны закрыл для *Дмитрия Алексеевича* военную карьеру, так новые государственные интересы конца двадцатых годов отвлекли его от египтологии. Египтологов в стране было достаточно. Ведь не только Дмитрий Алексеевич, но и Игорь Леонтьевич Снегирев и Юрий Павлович Францов если и не оставили египтологию совсем, то перенесли центр тяжести

своих научных интересов на Африку.

"Черной Африкой" в конце двадцатых всерьез заинтересовался Коминтерн. А кадров не было, в том числе и языковедов и этнографов. Сам Дмитрий Алексеевич, может быть, не сразу осознал это, но руководство ленинградского востоковедения сориентировалось быстро. И открыло перед Дмитрием Алексеевичем перспективы: поездку в крупнейшие центры западноевропейской африканистики, должность заведующего Отделом в Музее этнографии. Может быть, и у самого Дмитрия Алексеевича возник интерес в Африке, но спрос на эту специальность, безусловно, сыграл свою роль.

Но и эта стезя - какой же тернистой она оказалась! Молнии сверкали рядом, гром громыхал над головой. На рубеже 20-х и 30-х - ленинградское "академическое" дело. Отправили в ссылку академиков Сергея Федоровича Платонова, Евгения Викторовича Тарле. Затем, с 1934-го по 1937-й, удары уже по африканистике. Расстрелян человек, близкий Дмитрию Алексеевичу по происхождению - Георгий Евгеньевич Гернгрос, сын генерала, начальника Генерального штаба Российской империи. Расстреляны Николай Михайлович Насонов, Лазарь Бах, братья Рихтеры, лингвист Георгий Константинович Данилов. Арестованы Эндре Шик и Федор Степанович Гайворонский, уничтожены те, кто курировали африканское направление в Коминтерне - Людвиг Мадьяр, Георгий Иванович Сафаров. Уволены со строгими выговорами Александр Захарович Зусманович и Иван Изосимович Потехин.

Это совпало с гонениями на родственников, и Дмитрий Алексеевич ждал той же судьбы и для себя. И тем не менее он несколько дней прятал у себя на антресолях сотрудника Эрмитажа П. Ериховича, вина которого состояла только в том, что он родился в семье генерала.

В начале тридцатых Дмитрий Алексеевич стал преподавать язык суахили. Через какое-то время бдительные начальники решили проверить, чему же на самом деле учит этот беспартийный преподаватель. Очевидно, им не верилось, что человек мог сам выучить никому дотоле не известный в нашей стране африканский язык. Втайне от Дмитрия Алексеевича они послали двух его учеников в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ), где обучались и африканцы. Из Восточной Африки, где распространен язык суахили, в КУТВе в то время был только Джомо Кениата, будущий президент Кении. К нему-то на проверку и направили студентов Дмитрия Алексеевича.

Кениата подтвердил, что язык, которому их обучают, действительно суахили.

Во время Отечественной войны Дмитрий Алексеевич провел в Ленинграде голодные зимние месяцы блокады. В марте 1942-го скончалась его мать, Глафира Яковлевна. Все хранившиеся у нее бумаги, не говоря уже о вещах, пропали: у Дмитрия Алексеевича не было сил идти за ними. Летом 1942-го его эвакуировали вместе с другими сотрудниками музея. Вернувшись в Ленинград в феврале 1944-го, он уже в апреле защитил докторскую диссертацию "Кольцевая связь родов или трехродовой союз. (Из истории развития социального строя первобытной общины)". Она так и осталась неопубликованной: С.П. Толстов, директор Института этнографии, счел ее немарксистской.

...Зимой 1948-1949 гг., когда я первый раз пришел к *Дмитрию Алексеевичу*, он выглядел неважно. Опирался на палочку. Пошаливало сердце.

Он, профессор, заведующий университетской кафедрой и сектором в Институте этнографии, был вынужден идти слушателем в университет марксизма-ленинизма.

Контраст между атмосферой кабинета Дмитрия Алексеевича и кафедры истории международных отношений ЛГУ, где я учился, был разителен. Дмитрий Алексеевич говорил о фундаментальных исследованиях, о теориях крупных ученых, о работах над историческими документами, а молодые преподаватели и аспиранты моей кафедры, как рыбы в воде, плавали в тогдашних пропагандистских кампаниях, щеголяя друг перед другом и перед нами цитатами из последней передовицы. Того же требовали и от студентов.

Грустно, но даже многие действительно хорошие ученые писали тогда статьи о своих западных коллегах: "буржуазные историки", "буржуазные источниковеды", "космополиты". В сущности так же, как в 1937-38-м писали о «бандах троцкистских убийц» в археологии или этнографии. Увы, нельзя не согласиться с поэтом:

Бывает время, когда главное  
Себя от подлости сберечь.

Ученых в такие времена, увы, приходится мерить не столько по тому, что они написали, сколько по тому, чего они осмелились не написать.

Д.А. Ольдерогге не запятнал свое имя. Единственный упрек, который ему могут бросить следующие поколения - его участие в сборнике "Англо-американская этнография на службе империализма". Но это такая мелочь по сравнению с теми уступками давлению сверху, которые делали другие! К тому же и в этом сборнике Дмитрий Алексеевич

выделялся своим академическим стилем.

Он говорил мне, что в тридцать седьмом он из ночи в ночь ждал, что за ним придут. С 1938-го по 1945-й не издал ни одной статьи. В 1950-м ждали разгрома классического востоковедения. Все знали, что главной жертвой должен стать академик Игнатий Юлианович Крачковский. Известны были заранее имена тех, кому не давала покоя слава Лысенко, и кто хотел бы повторить в востоковедении то же, что было сделано с генетиками на сессии ВАСХНИЛ. Тут бы, конечно, Дмитрию Алексеевичу не сдобровать. Ведь он вырос из классического востоковедения. Но разгром востоковедения не состоялся. На обширном минном поле эта мина не взорвалась. Но разве мало там было других?

И все же, когда А.И. Собченко, окончив университет, оказался под угрозой безработицы, Дмитрий Алексеевич взял его в свой сектор. У Анатолия Ивановича в анкете - немецкий плен, по тем временам - волчий билет. Где надо, Дмитрию Алексеевичу это попомнят. Он знал, на что шел. Еще через несколько лет он добился зачисления в свой сектор и Виктора Андреевича Вельгуса, вернувшегося из пермских лагерей.

Характерно для него и отношение к людям моей судьбы. Я не сразу ему признался, что родился в ссылке, и что мой отец там уже много лет. Но он догадывался.

Преподавателям своего факультета я даже не упоминал об этом. А с ним - обсуждал, хотя и полуфразами, полунамеками, как водилось в те времена. Помочь он не мог. Но отношения у нас были очень доверительные, не типичные для всегда сдержанного Дмитрия Алексеевича. Как-то, когда мы шли из Института этнографии на востфак, он в сердцах сказал: «Скоро и при слове "Здравствуйте" будут ссылаться на Сталина». Тогда можно было поплатиться за куда меньшее.

Сразу же после смерти Сталина, когда обстановка несколько разрядилась, он ходатайствовал о месте для меня в аспирантуре востфака ЛГУ - безуспешно. И позже, когда после аспирантуры в московском Институте истории меня не оставили там на работе, он помог мне устроиться в Институт востоковедения в Москве. А потом добивался у его директора Бободжана Гафуровича Гафурова и у Иосифа Абгаровича Орбели, тогдашнего декана востфака ЛГУ, чтобы меня перевели в Ленинград.

\* \* \*

Он был и этнологом, и лингвистом, но и историком тоже. Отчасти и географом - и не только потому, что на протяжении двух десятилетий возглавлял Восточную комиссию

Географического общества. Под его руководством в нашей стране началось становление африканского языкознания, африканской филологии, этнологии. Но работы у него - не только по Африке. Одна из его лучших статей - "Малайская система родства". Он был энциклопедистом, как это ни удивительно в наш век сугубой специализации. О его роли в отечественной африканистике Михаил Борисович Рабинович сказал: "Это была целая эпоха".

В его книгах, статьях, докладах всегда был выдержан строго академический подход. Как он говорил – hoch akademisch. Его труды основаны не только на сведениях, почерпнутых из западных публикаций, а и на документальных материалах и уникальных свидетельствах.

Вообще, изучению и публикации документов он придавал очень большое значение. Считал, что у африканистики - не только отечественной, но и мировой - пока еще бедна источниковая база. Под его руководством была проведена многолетняя работа по выявлению, отбору, переводу и публикации арабских, китайских и португальских источников по древней и средневековой истории Африки. С энтузиазмом относился к источниковедческим и историографическим исследованиям в нашем Отделе Африки Института всеобщей истории и сам принимал в них участие.

Он отлично знал весь, как он говорил, "набор официальных заблуждений" и расхожие штампы политического жаргона. Иногда вставлял их в речь с еле скрываемым сарказмом, разумеется, если доверял собеседнику.

Всегда был в курсе последних событий в Африке. Но никогда не выступал со статьями о текущей политике - уж очень отличались его оценки от начальственных. Ему чужды были модные тогда идеи некапиталистического развития и социалистической ориентации. Любил повторять афоризм Ежи Леца: «Всегда найдутся эскимосы, чтобы учить негров, как им спастись от жары».

Зато его маленькая статья 1973 года о "колониальном обществе" в малозаметном ленинградском сборнике подтолкнула развитие целого направления в исследованиях проблем колониализма и его последствий.

Он не стремился печататься в многотиражных изданиях, которые, как считается, приносят автору известность. Предпочитал публикации Географического общества и этнографические сборники. Считал, что их меньше контролируют цензура и официальная

пропаганда. А те, кому надо, прочитают и там. Да и вообще, он не торопился публиковать результаты своих изысканий.

Каким он был учителем? Больше всего учил своим примером - своей работоспособностью, скрупулезностью, тщательностью в исследованиях, широтой, логикой, восприимчивостью к новым идеям. В.Я. Голант, будучи лишь немногим моложе Дмитрия Алексеевича, еще в конце сороковых называл его (разумеется, за глаза) "Стариком". Это было почтение, которое он объяснял: - Если бы я столько же лет изучал Африку, я не смог бы переварить столько знаний.

Дмитрий Алексеевич был поразительно широко образован. Нередко люди среднего возраста, не говоря уж о пожилых, знают главным образом ту литературу, которая полюбились им в молодости, и не очень восприимчивы к той, что появилась позднее. Особенно это относится, мне кажется, к поэзии. А Дмитрий Алексеевич следил за новинками и порой знал их лучше, чем молодежь. Его письма изобилуют стихотворными цитатами. Стихи Заболоцкого он знал еще по рукописным спискам. Искал новые переводы Аполлинера, которого очень любил.

Как-то я сказал ему, что читаю Олдоса Хаксли. Его у нас не издавали с середины тридцатых, и нельзя сказать, что потом хорошо знали. Дмитрий Алексеевич немедленно откликнулся: - Из Америки я привез все его книги.

Он был в курсе и свежей отечественной литературы. Читал и не лучшие ее образцы, которые по каким-то причинам привлекали общественное внимание. Прочитав очень советский роман Всеволода Кочетова "Братья Ершовы", сказал: - Я как будто снова окончил университет марксизма-ленинизма.

Любил цитировать любимых писателей и поэтов и умел находить такие высказывания, которые другим не бросались в глаза. Слушая его, я часто укорял себя: почему же я, читая ту же книгу, не обратил на это внимания.

...Казалось бы, сфера научных интересов Дмитрия Алексеевича была слишком специальной для тогдашней цензуры и проработчиков. Но вторгся же Сталин в проблемы языкознания.

С горьким юмором рассказывал Дмитрий Алексеевич о судьбе своих работ начала пятидесятых. Не буду говорить о лингвистике и этнологии говорить здесь трудно - это потребует слишком длинных разъяснений. Но пару случаев из общедоступных сфер

приведу.

Из библиографии к одной из его работ изъяли труды американских этнологов Херсковица и Мееровиц. Гремело "дело врачей", и редакторы вычеркивали еврейские фамилии. Верстка пришла, когда "дело" было уже закрыто, и Дмитрию Алексеевичу удалось восстановить вычеркнутых авторов. Но поскольку библиография была перенумерована, ему разрешили их вставить только как дополнительные. В 1956 г. Дмитрий Алексеевич поехал на конгресс в Америку и, вручая Херсковицу и Мееровиц эту работу, долго извинялся, объяснял, почему так получилось. Ему показалось, что они так его и не поняли. В именном указателе к другой работе царю Соломону, как назло, выпало по алфавиту место прямо перед Сталиным. Приказали царя Соломона изъять.

Могут сказать: "Ну что делать, сталинские времена!" Но вот пример уже из восьмидесятых. Дмитрий Алексеевич рекомендовал в одну из книг Детгиза включить африканскую сказку о Лягуше (лягушке), которого в один и тот же вечер позвали к себе две его жены. Тот сел и задумался. "В каком же я затруднении!" Так и сомневается до сих пор. "Поэтому лягушки и квакают". Эту сказку издавали на русском языке еще в 1913 г. Дмитрий Алексеевич всерьез написал мне о своих переговорах с Детгизом: "Так было некогда. Теперь все иначе - свобода слова, свобода собраний. Свобод столько, что не перечесать. И женщин освободили, и печать. А сказка эта никак не может пойти: никому не позволено подрывать устои Советской Крепкой семьи. Никому!!! Сказку завернуть. Словом, сказку о Лягуше - запретить за безнравственность".

Бдительность у наших редакторов в крови. Теперь времена изменились, но в конце 2007-го в одном московском весьма известном издательстве в моей книге о поэте Николае Гумилеве изъяли упоминание о том, что он когда-то с кем-то нюхал эфир. А вдруг прочтут дети и немедленно станут наркоманами!

Трагедия Дмитрия Алексеевича, как и многих людей его поколения, в том, что их талант, их знания не вылились в книги и статьи. В своих трудах они передали следующим поколениям лишь малую толику того, что накопили, продумали, выстрадали. Цензура, десятилетия самоцензуры... Парадоксально, но моя первая книга вышла на два года раньше, чем первая книга Дмитрия Алексеевича по истории - «Западный Судан». Дмитрий Алексеевич говорил мне тогда:

– Как Вы не боитесь. Ведь выпустить книгу - это как новый корабль спустить на

воду. Его надо со всех сторон окружить эхолотами.

Многих тем он вообще старался не касаться. Как было бы интересно узнать его впечатления о Фробениусе, Вестермане и других немецких африканистах, тех, у кого он учился во время своей командировки в Европу в конце двадцатых. Ведь ни у кого другого из отечественных ученых такого опыта было. Но он об этом ничего не написал - разве что упоминал в письмах.

Году в 1984-м, во время конференции в Бонне, я зашел в букинистический магазин - "Антиквариат у Старой Ратуши". Особой надежды на что-нибудь интересное не было - Бонн никогда не принадлежал к главным университетским центрам Германии. Но на мои расспросы продавец вдруг сказал: "Вы пришли как раз время. У нас целый шкаф книг из библиотеки покойного доктора Финдейзена, известного этнолога". И вот, роюсь в этом шкафу, я вдруг увидел знакомый почерк - он, оказывается не изменился с годами. На небольшой картонной папке: "Д.А. Ольдерогге". И, от руки же, названия трех его ранних статей: "1. К организации цехового управления в древнем Египте эпохи Среднего Царства. 2. Управитель бурга. 3. О некоторых египто-нубийских словах". И – "На память от автора".

Я, разумеется, сразу же купил их, привез в Москву и показал ему при первой же встрече. А он рассказал, как повернулась жизнь немецких африканистов через несколько лет после его знакомства с ними, как им жилось в "третьем рейхе" и как по-разному они себя повели.

\* \* \*

...Если бы он написал воспоминания... Но их нет. Нет даже пояснений к альбому семьи Ольдерогге – том самом, в котором одна из записей сделана молодым Гёте. Не говоря уж о тех минных полях, по которым прошел Дмитрий Алексеевич.

Всегда сдержанный в сколько-то официальной обстановке, он находил отдушину в беседах и письмах. Незадолго до кончины писал мне об очередном всплеске университетско-академических интриг: "...Сужу по слухам, как этнограф среди папуасов, и языком папуасским не владею". И добавил: "А этнографы именно так и пишут о жизни народов. Интересно, что о европейцах будут писать африканцы, когда будут посылать экспедиции в Ленинград, Лондон, Тулузу и т. д.?"

...В последние месяцы жизни его терзало сознание, что он сделал меньше, чем мог, не успел завершить труды, которые считал главными. Перебирал объективные и

субъективные помехи.

В 1960-м я привел к Дмитрию Алексеевичу Тома Колесниченко. Он только что побывал в Конго. Том вспоминал и о своих встречах с выходцем из России бароном Тизенгаузенем, игравшим видную роль в экономической жизни Конго. Д.А. буквально превратился в слух. Когда Том ушел, он сказал мне: - Я ведь с этим Тизенгаузенем в кадетском корпусе за одним столом сидел.

Сколько же близких ему людей оказались в эмиграции... Он, конечно, не мог не сравнивать их судьбы со своей. Еще в годы гражданской войны он имел официальное право, как уроженец города Вильно, уехать в Литву. Во время командировки в Германию, Голландию и Бельгию ему предлагали принять участие в научной экспедиции в Африку, и он побывал бы там тремя десятилетиями раньше, чем это случилось. Да мало ли было возможностей... Кто знает, может быть, он полнее реализовал бы свои способности, работая на Западе. Но, по его словам, он никогда об этом всерьез не думал.

Да и трудно представить его вне кабинета в здании Петровской Кунсткамеры с окнами на Неву, Адмиралтейство и Зимний дворец. Вся его жизнь связана с Петербургом - со сравнительно небольшой его частью. Четыре знаменитых дома по Университетской набережной: музей и Институт этнографии, Академия наук, Двенадцать коллегий и здание востфака и филфака. Мойка, где он жил до середины пятидесятих, и Каменноостровский - еще четверть века. Нева, каналы, весь старый Петербург - он мог часами говорить о них.

Мне никогда не приходилось слышать, чтобы его сколько-то обоснованно критиковали как ученого. Но как заведующий он нравился не всем. Пережитые им страшные времена не могли не наложить на него отпечатка: научили не высказывать свое мнение - во всяком случае, не всегда, вынуждали отмалчиваться, порой идти на компромиссы. Бывал он и раздражителен: было отчего.

Ученикам всегда бросаются в глаза и запоминаются больше всего промахи и недочеты учителей. Но я согласен с Виктором Шкловским: "пуд соли надо съесть и этот пуд слезами выплакать - тогда будешь говорить об ошибках учителя!".

Общение с Дмитрием Алексеевичем стало для меня тем, что прежде с почтением называли "школой". И мне кажется, что африканистам, которые были лишены этого общения или пренебрегли им, всегда будет не хватать чего-то важного. Может быть, главного.

Анна Ахматова писала: "...отцы и деды непонятны". Поколение Дмитрия Алексеевича, столь близкое к поколению Ахматовой, понятно еще менее.

Жизнь заставляла их быть осторожными. Они не раскрывались даже перед близкими. Не писали мемуаров, жгли свои архивы, в письмах изъяснялись обиняками. И если нам кажется, что мы поняли людей тех поколений, то это лишь заблуждение.

Он бы мог быть моим учителем...

Николай Павлович Полетика (1896-1988) был прекрасным знатоком международных проблем конца Девятнадцатого и начала Двадцатого столетия. В послевоенные годы он заведовал кафедрой истории международных отношений Ленинградского университета. У него, на его кафедре, учились те, кто стали потом всемирно известными учеными. Те, о ком я уже писал: Рафаил Шоломович Ганелин, Александр Александрович Фурсенко, Борис Васильевич Ананьич. И многие другие.

А для меня первая встреча с ним определила если и не профессию, то во всяком случае выбор кафедры.

Подаявая заявление в Ленинградский университет, я пошел знакомиться с теми, у кого мне предстоит учиться. Полетики не было на кафедре, и я разговорился с двумя студентами-старшекурсниками. Они шутливо, а может быть, и не вполне, уговаривали меня не связываться с профессией международника - «не губить молодую жизнь».

Ждать пришлось долго, и чего только не наслушался я о Полетике. У него две книги – по тем временам большая редкость. Первая, изданная еще в 1930-м, "Сараевское убийство", была когда-то сенсацией. Вторая - "Возникновение мировой войны", вероятно, так и не увидела бы света, если бы не вмешался Максим Горький. Считали, что Полетика набит знаниями. У него два высших образования. Защитил диссертацию не только по истории, а и по экономике. Он – из обедневшей украинской ветви известного в России дворянского рода.

Все это было любопытно. Потом я прочитал у Пушкина в его дневнике за 2 июня 1834 года: «Я очень люблю Полетику». Это – о Петре Ивановиче Полетике, известном дипломате, работавшем в русских посольствах в США, в Рио-де-Жанейро, в Мадриде, Лондоне. Друг Н.М. Карамзина, Д.П. Дашкова, братьев Николая и Александра Тургеневых, П.А. Вяземского, К.Н. Батюшкова. И.И. Козлова, В.А. Жуковского. Пушкин упоминал

Полетику в своем дневнике не раз. Отрывки из книги П.И. Полетика о Соединенных Штатах опубликовал в 1831 году в «Литературной газете». Идалия Полетика была любовницей Пушкина, а после разрыва их отношений стала его заклятым врагом. Говорили, что она содействовала ухаживаниям Дантеса за Натальей Николаевной.

Дотошные студенты докопались и до многого другого. Например, что племянник Петра Ивановича, Александр Михайлович Полетика был председателем военного суда, назначенного Николаем I для разбора дела Лермонтова о дуэли с Эрнестом де Барантом, сыном французского посла. По уставу полагалось разжаловать Лермонтова в рядовые, но благодаря А.М. Полетике ему сохранили офицерский чин, с переводом на Кавказ.

Полетика пришел. Говорил со мной как-то шутливо. История международных отношений, мол, стала почти такой же модной профессией как балет. - Но ни одна, даже самая красивая женщина не может дать больше того, что у нее есть.

Такая простота разговора профессора с абитуриентом и вызвала мою симпатию.

Лекции он начал нам читать только через год. Так что в следующий раз я увидел его только на том злосчастном заседании Ученого совета, где у Вениамина Яковлевича Голанта отбирали уже присужденную степень. Напомню, что новый декан, Корнатовский, заявил, что в диссертации обнаружена расистская терминология, и что вообще автор шел на поводу у империалистической пропаганды. Расизм - потому что автор называл африканцев "туземцами", в одном месте даже "чернокожими". А "на поводу" - потому что не разоблачил звериный оскал хищного облика американского империализма.

Большинство членов совета с первой же минуты поняли, что дело диссертанта безнадежно. Одни старались промолчать, другие даже подливали масла в огонь. Страх за собственную судьбу перевешивал остальные чувства. И вот: «как поленом по лицу, голосованьем!».

Потом, и очень вскоре, я навидался того, что описал тот же Галич.

Пусть другие кричат от отчаянья,  
От обиды, от боли, от голода!  
Мы-то знаем – доходней молчание,  
Потому что молчание – золото!

Защищать обреченное дело бросился лишь Полетика. Он был одним из официальных оппонентов и сказал, что не отказывается ни от одного слова в своем отзыве. Напомнил, что роль Америки в Намибии была ничтожной. Что даже Маркс употреблял

слово "чернокожие". Привел его высказывание, что Африка была "заповедным полем охоты на чернокожих". Сказал: - Если вам мало Маркса, то вот вам Вышинский, - и привел цитату Вышинского со словом "чернокожие". Действия это, разумеется, не возымело.

А мое уважение к Полетике только выросло.

А на его участии это поведение, конечно, отзывалось. Дело происходило в начале весны 1949-го, в самый разгар борьбы с "космополитизмом" и "низкопоклонством перед Западом". На ближайшем партсобрании истфака Полетику назвали одним из носителей этих зол. Наверно, и без того выступления он был обречен. Беспартийный завкафедрой. Не талдычил на лекциях политические лозунги. Не изъяснялся словами из очередной передовицы газеты "Правда", как другие сотрудники его кафедры. Да они с ним и не особенно считались. Когда он сделал как-то замечания по диссертациям двух аспирантов, те ответили:

- Мы тут представляем партбюро.

А какой-то недобрый шутник сочинил:

Политика Полетики  
При тонкостях политики,  
При знании дипломатии,  
Не выдержала критики.

Да и сам его упор на важность исторических документов для понимания истории Двадцатого века выбивался из общего тона. От нас, студентов-международников, требовали знать только что вышедшую брошюру "Фальсификаторы истории". В ней "буржуазных" ученых Запада обвиняли в фальсификации всей истории, особенно же – истории второй мировой войны. Брошюра была подготовлена – так говорили все – по заданию Сталина. На ней наши молодые борзые преподаватели строили свои лекции и семинары.

Полетика против этого не выступал, старался держаться в стороне. Но порой не выдерживал – как на защите диссертации Голанта.

Нам он читал лекции о международных отношениях и колониальной политике конца Девятнадцатого и начала Двадцатого столетий. Современности не касался, доводил события лишь до первой мировой войны. Апеллировал не к Ленину, Сталину и партии, а к тем многотомным публикациям документов, которые издавались в Германии, Франции, Великобритании. Каждая из этих стран, публикуя архивные документы, старалась обелить

себя и обвинить другие страны в развязывании мировой войны. Полетика называл это «битвой документов».

На этом материале он учил нас, как работать с первоисточниками, сопоставлять их, видеть противоречия, выяснять невысказанное, недосказанное, искаженное, и доискиваться до истины, выявлять подлинную сущность событий.

Само слово "документ" он произносил как бы подчеркивая, что это главное, с чем имеет дело историк. То-есть учил нас ремеслу историка – тому, что нам и было нужнее всего. Но начальству такой подход к новейшей политической истории не нравился, его считали аполитичным.

А ситуация ухудшалась. К "космополитизму" и "низкопоклонству перед Западом" прибавилось "Ленинградское дело".

Полетика чувствовал, как сгущаются тучи. Было ясно, что дни его на факультете сочтены. Что, несмотря на аристократических предков, и его еще могут зачислить в «безродные космополиты».

И тогда он сделал шаг, которого никто не ожидал. Мы, студенты, слышали эту историю так. Он якобы встретил в Москве в Министерстве высшего образования только что назначенного нового ректора Ленинградского университета. Ректор был молодой, во все тонкости дел в ЛГУ его еще толком не посвятили. Тем более, в дела историков – он был по специальности математиком. Полетика дал ему на подпись заявление об увольнении из ЛГУ в связи с переходом в университет в Ташкенте. Ректор, наверно, считал, что Полетика делает благородный шаг: уходит из второй столицы, чтобы помочь развитию образования на периферии, в Средней Азии. И подписал.

Так Полетика, специалист по истории дипломатии, показал, что и сам может проявить дипломатические способности. Оказался в Ташкенте, правда, не надолго. Вскоре перешел в университет в Минске. Прожил там два десятилетия.

Его враги в ЛГУ, должно быть, кусали себе локти - ушел от них даже без выговора и шельмования!

Но ушел он и от нас, студентов. На кафедре наступили зловещие времена.

У студентов моего поколения память о Полетике осталась как о профессионале. Помнили его лекции, суховатые (могли они тогда быть другими?), но насыщенные богатым фактическим материалом.

Как человека, мы его знали мало. Он замыкался в себе. В откровенные разговоры не пускался. Но в отсутствии доброжелательства его не упрекнешь. Летом 1953-го я встретил его на улице (он навещался в родной Ленинград) и пожаловался: кончаю истфак, рекомендация в аспирантуру есть, но надежд на поступление нет - неподходящие анкетные данные. Он сразу всё понял, пошел просить за меня к заведующему кафедрой Ленинградского пединститута. Полетика был уверен, что его ходатайство сработает: завкафедрой был когда-то его студентом. Но вернулся понурым...

Потом, в 1954-м, не попал в московскую аспирантуру мой друг Юра Соловьев, Я пожаловался Полетике. Он знал Юру как очень способного студента. И взял его в аспирантуру Минского университета (потом Юре предложили место в Ленинграде).

В конце пятидесятых и в шестидесятых я встречался с Полетикой много раз. Его книга о подготовке первой мировой войны переиздавалась в издательстве "Мысль". И он не раз приезжал в Москву. Бывал и у меня. По мелким редакционным поправкам я был связующим звеном между ним и его редактором, Ниной Ивановной Калашниковой. В начале шестидесятых и я побывал у него, когда приезжал в Минск с лекциями.

Держался Полетика теперь куда более раскованно, чем в Ленинграде. Но все же по-настоящему раскрылся лишь через много лет, издав книгу воспоминаний "Виденное и пережитое".

Эту поразительно интересную книгу он написал в эмиграции, в Иерусалиме. В 1971 году, когда ему исполнилось 75 лет, он был вынужден уйти из Минского университета на пенсию. Тогда же его падчерица Рена, которую он очень любил и называл дочерью, эмигрировала в Израиль. В 1973-м он вместе с женой последовал за ней. Жена предпочла потом переселиться в США, а Полетика остался в Иерусалиме. Это его решение, очевидно, было вызвано давней симпатией к еврейскому народу, к тем, рядом с которыми прошли на Украине его детство и молодые годы. Его первая жена, которую он очень любил, принадлежала к довольно известному роду Пумпянских. Вторая, на которой он женился через много лет после смерти первой, тоже была еврейкой. "Еврейский вопрос" Полетика считал важной лакмусовой бумагой для понимания судеб России.

В предисловии к мемуарам он выразил то, что должен считать своей заповедью каждый мемуарист: «Воспоминания следует писать только тогда, когда автор может писать правду».

Воспоминания кончаются тридцатыми годами, да и конец тридцатых дан только вскользь. А жизнь в Ленинграде – до 1951-го, недолгое время в Ташкенте, затем – до 1973-го в Минске, затем до 1988-го – в Израиле? Очень надеюсь, удастся что-то разыскать, услышать, найти.

"Виденное и пережитое", - замечательная книга. Исключительная память, наблюдательность. Полетика не сотворил себе кумира ни из белых, ни из красных, ни из Запада, ни из Востока (ни из Израиля - страны, приютившей его, русского потомственного дворянина).

Как жаль, что эти почти 500-страничные воспоминания до сих пор не вышли на родине, в нашей стране. За рубежом они были изданы дважды, но до сих пор почти неизвестны в России. Даже имени Полетики - нет в недавно изданном двухтомном биобиблиографическом словаре отечественных историков.

Кончить хочу словами Томаса Манна, которые Полетика дал эпиграфом к своей книге: «Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, инстинктивной общности с окружающим мы создали нечто сверхличное... вот это сверхличное... вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Памятью о нем мне остались письма из Минска (из эмиграции он не писал), его "Возникновение первой мировой войны" с надписью "Моему дорогому другу Аполлону Борисовичу Давидсону" и то же - на "Хрестоматии по новой истории", которая издана с его участием в 1953 году.

Признаюсь, мне было приятно получить в 1958-м от Полетики добрую оценку моей первой книги и слова: «Знайте, что для такого старого пса исторической науки, читавшего тысячи книг на своем веку, такое признание кой чего да стоит!». <sup>xxiii</sup>

В университетские годы – как бы нужны были мне советы Полетики. Но – не пришлось...

Седьмое десятилетие дружбы

Пою мои мечты, природу и любовь  
и дружбу верную

*Пушкин «Чаадаеву»*

Святая наука – расслышать друг друга  
сквозь ветер, на все времена...

*Окуджава*

Как бы важно ни было влияние педагогов, даже самых лучших, роль одноклассников в школе и университете, и вообще сверстников – друзей и товарищей – еще важнее.

...Первой встрече с ним я обязан 206-й женской школе. Я, девятиклассник, пришел туда на очередной вечер. До танцев там проводили викторину. Вел ее Игорь Семенович Кон. Его называли по имени-отчеству, хотя был он нашим однолеткой. На год старше меня, а некоторые девушки – может, и старше его. Но он – уже студент пединститута, и вел у них занятия. Викторина была о философии прошлого. Вольтер, Дидро, Сократ... Имена сыпались одно за другим. Меня поразила начитанность девочек. Я тогда далеко не все нужные имена знал. Игорь все это вел умело, с шутками.

Следующий раз я увидел его уже в нашей школе. Пришел он как представитель райкома комсомола читать лекцию о моральном облике советской молодежи. Говорил интересно. Но меня что-то задело. С каких это дел наш сверстник поучает нас, как нам себя вести. Я был председателем учкома школы и заместителем секретаря комитета комсомола. Речей на эту тему мы наслушались уже поперек горла. Правда, тут выступление явно лучше – и по существу, и по форме. И исторический диапазон – не сравнить с той тягомотиной, которой нас обычно кормили. Во мне давно уже кипит протест против поучений, и я стал что-то возмущенно говорить своим соседям. А потом задал вопрос, явно недружественный, хотя по форме и не грубый. Я его не запомнил, но помню слова моего одноклассника Иванова, уже с вызовом:

- Скажите, представитель райкома, кого вы перед собой видите: советских комсомольцев или фашистских выкормышей?

Не мне одному надоели поучения. Даже на выступлении секретаря райкома десятиклассник Лева Мархасев сказал с абсолютно невозмутимым видом:

- То, что вы нам объясняете, в логике называется подменой тезиса.

Но Игорь Кон, это поразительно, не только не осерчал, а, как я узнал много позже, вечером сказал своей маме:

- Интересные там ребята.

Вскоре мы оказались вместе в компании четырех девушек. Собирались

десятиклассницы, те, у кого Игорь раньше вел занятия. Вечерами, по очереди, друг у друга. Звали мальчиков из моей школы. Викторины, шарады, стихи (я впервые тогда услышал о Саше Черном – где было о нем узнать?).

Конечно, танцы. Все очень невинно.

Была и любимая песня, которую эти десятиклассницы пели при каждой встрече.

На солнце оружием сверкая,  
Под звуки лихих трубачей,  
На улице пыль поднимая,  
Проходит полк гусар-усачей.

А там, чуть подняв занавеску,  
Лишь пара голубеньких глаз...

Почему выбрали эту песню? Наверно, потому, что она не была такой бравурной, как те, что слышались повсюду. Потом уже я узнал, что это перевод Щепкиной-Куперник немецкой песни «Голубые гусары».

Игорь тоже танцевал, хотя и не блистал умением. Зато читал шутливые стихи Минаева и других не очень известных тогда поэтов Десятилетия.

Потом как-то позвал меня к себе домой. Десятиметровая комнатка, на Троицкой-Рубинштейна, во втором дворе. Да и ту он получил чудом. Вернулся после эвакуации в Ленинград - квартиру уже отдали другим. Скитался по знакомым, порой и на вокзалах приходилось ночевать. Написал письмо Жданову – в стихах рассказал о своих злоключениях. Ответом, естественно, не удостоили, но вскоре вызвали в райсовет и – вот уж действительно чудо! – дали ордер на десятиметровку.

В этой комнатке он жил с Евгенией Генриховной, своей мамой, до 1956-го. Там работал, там собирались друзья.

Эта комнатка стала для меня родной. Игорь Семенович стал Игорем. Собирались и у меня. У нас с мамой можно сказать «хоромы» - комната тридцать метров. Было где посидеть и потанцевать. Еды почти не было. Карточки отменили только в декабре 47-го. Да и потом было голодно. Ежегодно объявлялись снижения цен. Но это чувствовали только Москва и Ленинград, в других местах сколько бы цены ни снижались, масла и мяса в магазинах все равно не найдешь.

Игорь, конечно, - феномен. Слово «вундеркинд» к нему не подходит: оно отдает каким-то неестественным, даже противоестественным развитием, отгораживает от

сверстников. А он был вполне свой – все понимает, полон интереса и сочувствия к другим.

В пятнадцать лет кончил школу. В девятнадцать – институт. А в двадцать два - представил три диссертации на три совершенно разные темы: по истории, по юриспруденции и по философии.

Однако не кичился. Вел себя поразительно скромно.

Вот что он сам писал о себе, уже в 1994 году.

«По складу характера и воспитанию я был типичным первым учеником, который легко схватывает поверхность вещей и быстро движется вперед, не особенно оглядываясь по сторонам. Быть первым учеником всегда плохо, это увеличивает опасность конформизма. Быть отличником в плохой школе, - а сталинская школа учебы и жизни была во всех отношениях отвратительна, - опасно вдвойне; для способного и честлюбивого юноши нет ничего страшнее старательного усвоения ложных взглядов и почтения к плохим учителям. Если бы не социальная маргинальность, связанная с еврейской фамилией, закрывавшая путь к политической карьере и способствовавшая развитию изначально скептического склада мышления, из меня вполне мог бы вырасти идеологический погромщик или преуспевающий партийный функционер.

Ведь убедить себя в истинности того, что выгодно и с чем опасно спорить, так легко... Плюс - агрессивное юношеское невежество, которому всегда импонирует сила...

Значит ли это, что я всему верил или сознательно лгал? Ни то, ни другое...

Сначала инстинктивно, а потом сознательно я избегал откровенно конъюнктурных тем, предпочитая такие сюжеты, в которых идеологический контроль был слабее (этим отчасти объясняется и смена моих научных интересов)...

Вначале они не были даже компромиссами, потому что внутренняя самоцензура действовала автоматически и была эффективнее цензуры внешней. Идеологическая лояльность в сталинские и первые послесталинские времена гарантировалась двойко.

Во-первых, почти в каждом из нас жил внушенный с раннего детства страх. Из моих близких никто не был репрессирован, но я на всю жизнь запомнил, как в 1937 г. у нас в комнате, на стенке, карандашом, незаметно, на всякий случай, были написаны телефоны знакомых, которым я должен был позвонить, если мою маму, беспартийную медсестру, вдруг арестуют...

Второй защитный механизм - описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда

человек может иметь по одному и тому же вопросу два противоположных, но одинаково искренних мнения. Двоемыслие - предельный случай отчуждения личности, разорванности ее официальной и частной жизни. В какой-то степени оно было необходимым условием выживания. Тот, кто жил целиком в мире официальных лозунгов и формул, был обречен на конфликт с системой. Рано или поздно он должен был столкнуться с тем, что реальная жизнь протекает вовсе не по законам социалистического равенства и что мало кто принимает их всерьез. А тот, кто понимал, что сами эти принципы ложны, был обречен на молчание или сознательное лицемерие. Последовательных циников на свете не так уж много. Большинство людей бессознательно принимают в таких случаях стратегию двоемыслия, их подлинное Я открывается даже им самим только в критических, конфликтных ситуациях».

На самом деле он явно скромничает. Он понимал в окружавшей жизни заметно больше. Был первым, кто предупредил меня, что поступить в университет с моей фамилией будет трудно. Я, по самонадеянности, как-то не понимал этого тогда, весной 1948-го. Жил в русской семье, об усиливающихся еврейских страхах слышал, но как-то их недооценивал.

Поражал меня Игорь многократно. Когда умер Сталин, и весь университет, и студенты и преподаватели, чуть ли не рвали волосы на себе от горя, он был одним из немногих, кто сказал:

- Хуже-то не будет. Некуда уже.

Но больше всего удивлял тем, что работал, работал, даже в те годы, когда, казалось, никакая работа тебя не спасет. Не уйдешь от дамоклова меча. Звучание фамилии. «Пятый пункт». Сколько угодно считай себя человеком русской культуры, русским, все дороги для тебя закрыты. От этого должны были опускаться руки.

Я в университетские годы толком не учился. Сдавал экзамены на пятерки - это стоило одной-двух бессонных ночей. А пятерки нужны были для повышенной стипендии. Но не более того.

Зачем мне английский язык – когда и с кем разговаривать? Да и другие предметы? Все равно в Ленинграде не оставят, да и на европейскую часть страны не рассчитывал. Быть учителем в школе, где-нибудь в сибирской тайге - что ж, я не против, вернусь, так сказать, к своим корням. Готовиться к научной работе, к аспирантуре, не считал нужным: зачем тешить себя иллюзиями. Конечно, читал, но то, что было интересно самому, не по

университетской программе.

Старался зарабатывать. Читал лекции от университетской лекторской группы. Газеты и журналы смотрел поэтому внимательно. По вечерам ходил на танцы. Летом катался на лодке по Неве, даже вокруг Васильевского острова – тогда это разрешалось. Старался надышаться любимым городом – ведь прощание с ним было предрешено. Только на пятом курсе одумался.

А Игорь все время работал. Не вытащить его было даже покататься на лодке. «Надо работать».

Но когда он представил свои три диссертации, ему дали защитить только две.

- Мальчик, не надо коллекционировать степени.

В Ленинграде не оставили, отправили в Вологду. В пединститут. Шел 1950-й.

В Вологде сразу поняли, как много он может дать. Кроме пединститута он читал лекции в Университете марксизма-ленинизма: двенадцать филиалов, разбросанных по всему городу. И где бы Игорь ни выступал, его просили еще и еще. Читал по много часов в день.

Дважды Игорь приглашал в Вологду меня. Я жил по несколько недель в комнатке, которую ему с его мамой дали в пединституте. Привез рекомендацию от ленинградского общества «Знание» и тоже читал лекции – все-таки заработок.

Однажды вызвали меня, беспартийного, студента четвертого курса, в вологодский обком партии. Проводится большое мероприятие: семинар лекторов Вологодской и Архангельской областей. В списке, присланном из Москвы, есть и лекция об Америке. Конечно, сугубо критическая, шла ведь холодная война. Я сказал, что такой темы не читаю. Мне ответили, что проблемы нет:

- Из Москвы пришел полный текст.

Я, естественно, спросил:

- А я-то вам тогда зачем?

- Но ведь будут вопросы. Надо же отвечать.

Ну, прочитал я лекцию. Даже дважды. Конечно, не по московскому тексту. Очень он был дубовым.

Среди тех, с кем тогда познакомил меня Игорь, был Артур Владимирович Петровский, тогда рядовой преподаватель, потом стал президентом Российской академии

образования.

Но были и совсем другие. Напротив комнаты Игоря, в педагогическом общежитии, жила завкафедрой марксизма-ленинизма с мужем, майором КГБ. По воскресеньям они пили. Потом начинали выяснять отношения. Но поскольку хотелось быть, что называется, на людях, они выходили в коридор и там продолжали свои разборки. Она все-таки преподаватель, язык у нее был подвешен неплохо, так что она обычно загоняла его в угол. Но у него был заключительный козырь:

- Баба ты, баба и есть.

Тут уж ей крыть было нечем.

Случалось и совсем уж некомичное. В общей уборной на гвозде (о туалетной бумаге тогда и слухом не слыхивали) оказалась газета с портретом Сталина. На газете был номер комнаты подписчика. Кто-то донес парторгу. Но парторг оказался человеком. Сказал: - У Вас же есть сын. Сколько ему лет? Еще дошкольник? Ну, значит, он и повесил. А с него что же спросишь. Так и обошлось.

В 1953-м Игорь вернулся из Вологды в Ленинград. Горло сорвал бесчисленными лекциями.

Известность в научных кругах Игорь получил еще в начале пятидесятых. Но звездные его часы начались в годы, которые вошли в нашу историю как шестидесятые. Своими книгами о философии истории и о социологии, лекциями в Ленинградском университете, на которые народ ломился как в театр.

Но еще больше – статьями в самом тогда популярном журнале, который называли: «Этот безумный, безумный, безумный "Новый мир"». Ходил даже анекдот. У сотрудника КГБ спрашивают:

- Как вы определите «антисоветчиков», если понадобится?

- Да очень просто. Возьмем список подписчиков «Нового мира». Ну, может быть, еще «Иностранной литературы».

Игорь стал одним из самых известных авторов этого журнала. В его статье «Психология предрассудка» (1966) впервые в советской печати всерьез говорилось о природе этнических предрассудков. Он жил у меня в Москве, когда сдавал эту статью в журнал. Я прочитал корректуру и сказал:

- Статья вызовет фурор, все будут ее читать. Поэтому стоит ее еще немного

подредактировать.

И предложил кое-какие стилистические поправки.

Игорь позвонил в журнал.

- Да вы что! Цензура уже дала добро. Если что-то поменять, будут снова статью смотреть, и кто знает...

Потом, в 1968-м, нашумела его статья с размышлениями о взаимоотношениях интеллигенции с властью. Правда, на зарубежном материале, но все же понимали, что это – и о нас. В 1970-м - «Диалектика развития наций». Тогда национальный вопрос уже стал одним из самых острых, обсуждать его – как ходить по минному полю. (Эти статьи и сегодня не устарели и переиздаются).

Ну, а затем – разгром «Нового мира». Этого рупора Игорь лишился. И пошли, одна за другой, его книги «Дружба», «Социология личности», «В поисках себя», «Открытие я».

В восьмидесятых годах Игорь стал первопроходцем в изучении сексуальности – одной из самых запретных тем в СССР. (Помните крылатую фразу: «В СССР секса нет?»).

С конца восьмидесятых изданы его книги «Введение в сексологию» (до того она десять лет ходила в самиздате), «Сексуальная культура в России», «Лики и маски однополый любви» и даже учебник «Сексология», а в Америке - «The Sexsual Revolution in Russia. From the Age of the Czars to Today».

Увы, далеко не все важные советы и идеи Игоря услышаны общественностью. С восьмидесятых годов он бьет в набат, что нашей стране грозит СПИД, что его распространение приведет к сокращению населения. И что единственный выход – это распространение знаний, сексуальной культуры – начиная со школьного возраста, поскольку сексуальные отношения сейчас начинаются в более молодом возрасте, чем раньше. Для многих – еще в школе.

Однако ни система образования, ни власть не поддерживают этой идеи, а многие руководители церкви считают ее вредной.

Не буду перечислять все направления работы Игоря. Они широко известны.

Свою книгу «Дружба» Игорь открыл эпиграфом из Шопенгауэра: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Не помню, когда это сказал Шопенгауэр, но Игорь привел его слова три десятилетия назад.

Надеюсь, что сейчас он так не думает.

## НАДЕЖДЫ ОТТЕПЕЛИ

С конца 1953-го я – в Москве.

Запомнилось первое заседание в секторе Новой истории, где я стал аспирантом.

Обсуждалась статья Альберта Захаровича Манфреда. Спокойно, как сказали бы теперь, рутинно. Оживление наступило после выступления медиевиста Виктора Федоровича Семенова. Не критикуя статью по существу, он назвал ее слишком публицистичной. Альберта Захаровича это задело за живое. Реагировал он бурно: право историка на свой собственный, не какой-то безликий, широко утвердившийся сейчас стиль.

- Я, - сказал он, - учусь стилю у Анатоля Франса.

Существо статьи Манфреда, наверно, интересовало не всех. Но манера и стиль исторических работ - это близко каждому. И разгорелась дискуссия. Историки Франции - Борис Федорович Поршневу, Федор Васильевич Потемкин, Александр Иванович Молок, Энна Адольфовна Желубовская, приехавший из Одессы Вадим Сергеевич Алексеев-Попов - все высказались не только о проблемах стиля вообще, но и о языке Анатоля Франса.

И почти у каждого, что меня поразило, нашлось, что сказать. В дискуссию включились Владимир Михайлович Лавровский, Евгения Ильинична Рубенштейн, Михаил Иванович Михайлов, Владимир Михайлович Турок, Зинаида Карловна Эггерт. Не помню выступления Алексея Леонтьевича Нарочницкого, он тоже присутствовал, работал в этом секторе на полставки. И не помню, был ли тогда Аркадий Самсонович Ерусалимский - его тогда временно перевели в сектор всемирной истории. Но помню, что поддерживали Манфреда все, даже те, кто сами не очень умели писать сколько-то самобытно. Отмолчался, кажется, только выпускник Академии общественных наук Павел Васильевич Жогов.

Это было одно из первых таких искренних и оживленных обсуждений в Институте истории. Можно ли было всего лишь несколькими месяцами раньше публично сказать: - Я учусь стилю у Анатоля Франса?

Сталина уже нет, языки уже чуть-чуть развязались, после многих лет молчания или казенных слов.

Для меня переезд в Москву – огромный перелом в жизни. Это и первые признаки оттепели. Это и перемена ленинградских порядков на московские, тоже ужасные, но все же не в такой мере. Это – и уход от домашней жизни, с мамой, друзьями, привычным кругом

знакомств.

Институтская жизнь стала – именно тогда – поразительно богатой. На Волхонке, 14, в бывшем голицынском особняке, где когда-то останавливалась Екатерина II, находились гуманитарные институты: истории, экономики, философии. Крупнейшие гуманитарные диспуты проходили в этих стенах, в огромном конференц-зале. Дискуссии были самые разнообразные. Выступали те, кто возвращался, отсидев свои двадцать лет. Выступал и Лысенко – Хрущев не отказал ему в поддержке. Академик Георгий Александров, одно время глава партийной философской школы, тоже проводил там свои конференции. На одной из них, помню, ярко выступил кто-то из его оппонентов. Александров отреагировал:

- Мы тут обсуждаем философские вопросы с точки зрения марксизма. Ваше выступление – выходит за его пределы. Поэтому обсуждать его мы не будем.

\* \* \*

Символом перемен стала "Оттепель" Эренбурга. Ее заклеил в печати Фрол Козлов, глава Ленинградской парторганизации, да и не только он. Но это лишь придало ей популярности. Совершенно случайно я был на закрытом обсуждении в Союзе писателей. Казалось бы, обсуждение узкое, келейное – в секции прозы. Но молодежь, студенты откуда-то узнали. Пришлось у входа в Дом литераторов поставить конную милицию – чтобы оградить от тех, кому не положено.

Да и кому положено, тоже натерпелись. Пришли все во-время, но собрание не открывали... Прошло два часа. Пошел шепот, что организаторы никак не могут дозвониться до Суслова, - выяснить, что делать.

Наконец, собравшиеся потребовали все-таки начать. И тогда председатель секции Юрий Либединский сказал, что правление Союза писателей поручило секции прозы разобраться, отчего это всеми уважаемого Илью Григорьевича постигла такая творческая неудача. Сразу же встал Сергей Антонов, член правления, и заявил, что правление вообще не обсуждало "Оттепель" и такого задания дать не могло. Либединский, смутившись, ответил, что сам он был на даче и судил с чужих слов.

Что тут началось! Чего только ни было наговорено – и с каких только сторон и позиций! Кончилось тем, что заставили говорить самого Эренбурга. Он произнес буквально две фразы:

- Вы все видели, что тут происходило. Каждый сделает свои выводы.

Собрание показало, какой разброд царил в обществе. В перерыве я подошел к Эренбургу, выразил ему свою поддержку, но ему было, конечно, не до меня.

... XX съезд партии, февраль 1956-го. Казалось, обстановка прояснилась. Поток освобожденных из лагерей резко возрос. Тех, кого в пятьдесят третьем и пятьдесят четвертом выпустили лишь как амнистированных, объявили реабилитированными. На работу стали зачислять тех, кого прежде даже к окошку отдела кадров не подпускали.

Перемены отзывались и во внутренней жизни института.

Главное – исчез страх, ежеминутный, постоянный, гнетущий. Постепенно развязывались языки, разговоры стали свободней. Помню, как в дни смерти Сталина пьяный мужик в трамвае громко бормотал:

- Сталин умер, а я еду. Сталин умер, а я еду.

В общественной жизни института чуть ли не первый признак – вечера. Менее казенные, меньше лозунгов, дежурных речей, больше простоты, шуток. Какая-то всамделишная праздничность. Народ настолько изголодался по всему этому, что Анатолий Филиппович Миллер, известный востоковед, он тогда был председателем месткома института, специально приехал на новогодний вечер из санатория, с юга. Появилась яркая самодеятельность. Раскованность. На один из вечеров мой научный руководитель Николай Александрович Ерофеев склеил из картона цилиндры – себе и мне.

Появились капустники. Сначала - у артистов, в домах актера, в театрах. Но очень скоро распространились повсеместно - в научных институтах, конструкторских бюро, даже министерствах.

Политики не касались. Еще – опасно. Но бытовые темы – все больше.

Известный историк Борис Федорович Поршнев очень любил "Мурку", блатную одесскую песенку двадцатых годов. Со сцены петь ее он не решался. Но во время вечеров в институте в какой-то момент друг другу шептались: - Поршнев поет "Мурку" в такой-то комнате. И народ кидался туда. Очень уж сочно, с любовью он пел.

Объявления обо всех наиболее важных заседаниях вывешивались на внешней стене здания, у входа. Там поначалу висела и мемориальная доска о том, что тут выступал Сталин. Потом доску оттуда убрали, перенесли в конференц-зал.

Я ходил на многие из обсуждений. Чувствовались новые веяния. Помню выступление восточногерманского экономиста Кучинского. Когда он сказал, что у

американских рабочих, как правило, есть машина – без нее в Америке трудно найти работу и вообще передвигаться, все были поражены – у нас-то машин вообще почти не было. Шел 1954-й год.

В Фундаментальной библиотеке – она была поначалу неподалеку от института – вечера Зиновия Паперного. Его выступления искрились юмором - обо всех сторонах нашей тогдашней жизни.

Интересных людей в Институте и вокруг Института - много. Лучшие историки страны.

Конечно, и тут не без смеха. Ученый секретарь института, собрав нас, аспирантов, вещала:

- Ведь вам же даны такие возможности! Изучайте языки, какие хотите. А ведь никто не подал заявок ни на канадский язык, ни на австрийский.

А научная руководительница одного аспиранта-американиста спросила его:

- А на каком языке говорят эти ваши американские негры?

На обсуждении рукописи книги Льва Слезкина новый сотрудник, только что присланный из ЦК партии, возмутился:

- Вот тут у автора полно цитат разных авторов, с разных языков. Надо все это проверить.

- Ну, что ж, проверяйте.

- Но я же этих языков не знаю!

Много было присланных в институт выпускников Академии общественных наук. Один из них, Жогов, взял модную тогда тему - о бактериологической войне, которую американцы якобы вели в Корее.

Особенно бурные схватки шли в секторе новейшей истории Европы. Там выпускников этой академии было больше всего.

И все-таки таких людей в институте было меньшинство. Даже среди вспомогательного персонала, секретарей, пожилых сотрудниц, так и не защитивших диссертации, – немало хорошо образованных. Отлично знали европейскую литературу, языки. Когда приезжали иностранные ученые и председательствующий спрашивал: - Нужно переводить? Большинство голосов: - Не надо.

Из тогдашней аспирантской молодежи выросли известные ученые и организаторы науки. Собрались в институте и отпрыски партийной элиты. Сестра Суслова, дочь члена Политбюро Кира Первухина. В секторе новейшей истории – две Светланы: дочь Молотова и много лет отсидевшая дочь Бухарина.

\* \* \*

В Москве мне жилось нелегко. Магазины – пустые. На прилавках - "продельная крупа" (почти что с мусором). Получить в столовой мясную котлету – необычайная удача.

Я здесь – чужой. Знакомых нет, да и заводить не хотелось – душой был в Ленинграде. Денег не было. Со стипендии еще откладывал какие-то крохи, чтобы съездить в Ленинград – почтовым, самым дешевым поездом.

Единственным развлечением была байдарка. Гребной клуб на стрелке Москвы-реки, возле кондитерской фабрики. Как-то перевернулся на байдарке на том месте, где теперь стоит Петр I.

Почти все время проводил в библиотеках. Собственно, возможностей других и не было. Благо Ленинка тогда работала почти что до ночи. Приходил к девяти утра. У Арбатской площади часто видел машины Жукова и Булганина – они ехали к Генеральному штабу, тоже к началу рабочего дня.

В библиотеке выписывал две стопки книг: одну – по диссертации, вторую – для души, художественную литературу.

В Фундаментальной библиотеке стали устраивать интересные выставки новых поступлений. На большой стол выкладывали свежие иностранные журналы – дело дотоле неслыханное. Намного легче стало попадать в спецхраны.

Места в общежитии мне не досталось. Через знакомых снял "угол" у пожилой женщины и предложил разделить его со мной Вале Дякину, моему ленинградскому другу, тоже поступившему в аспирантуру. Так что нас в шестнадцатиметровой комнате было трое. Хозяйка спала на диване, а мы с Вале по очереди: один день - на кровати, другой - на столе. И так – полтора года. В мае 1955-го мне дали, наконец, место в общежитии.

### Коммуна

Об общежитии стоит рассказать. Гостиница "Якорь", на углу Тверской и Большой Грузинской. Но не нынешнее роскошное здание, а старое. Когда-то там были "номера" -

что-то среднее между гостиницей и домом свиданий. На третьем этаже с дореволюционных времен осталась медная табличка: "доктор при номерах". На первом этаже – магазины, на втором – уже не помню, а выше – общежитие аспирантов и номера для командировочных из других городов. Комнаты – убогие, но зато в каждой телефон. Большинство аспирантов почему-то из Средней Азии и с Кавказа. Продавщицы, парикмахерши, молодые женщины ближайших домов – их контингент.

В те времена слово "аспирант" произносилось с уважением. С аспирантами лестно было познакомиться. Поэтому телефон звонил непрерывно...

Летом 1955-го я остался в шестиместной комнате один – все разъехались на каникулы. И не успевал я еще открыть дверь, телефон звонил. Женский голос: - Позовите Амина. Или Агалара. Я отвечал, что они приедут еще нескоро. - А Вас как зовут?

Я отвечал обычно: - Акакий. Не поняв, переспрашивали, но сразу переходили к делу: - Давайте встретимся. Я отшучивался: - Вы же ведь думаете, что я молодой, а у меня поясница болит, скипидаром мажу.

Смеялись, но это только раззадоривало.

Один из моих тамошних друзей, Борис Береснев, женился потом на одной из этих девушек. Ей было девятнадцать. Стали встречаться. За ней ухаживал какой-то наш разведчик, живший в основном зарубежом. Наверно, любил ее. Его друзья – коллеги из служб, читали переписку Бориса с Нелей, угрожали то ей, то ему. Но они все-таки не расстались.

Понятия о нравственности были пестрыми. Чему-то сейчас бы удивились. В комнате напротив девушки раздобыли где-то пленку с песней "На Дерибасовской открылась пивная". По нынешним временам – куда как безобидная. Но им было неловко, они закрывали дверь и включали тихо.

Поначалу я жил в шестиместной комнате, потом четверо из нас объединились. Мы так сдружились, что стали жить коммуной. Борис Береснев, металлург, родом из Кургана. Феликс Сабиров, химик, из Татарии. Габиб Магомедов, биолог, из Махачкалы. Габиб был на десять лет старше нас, прошел войну. Потом прожил в Москве семь лет. Его любимыми выражениями были: «Старый Габиб службу знает», «Что, плохо живем? Мало ворует?». Он прожил с нами недолго, кончил аспирантуру раньше, уехал.

Феликс Сабиров до пяти лет не знал ни слова по-русски. Зато потом я не видел

человека, который бы так сыпал словечками и выражениями, которых нахватался от мастеровых – с ними он работал. Лексика ненормативная, но сочная.

Что значит – жили коммуной? Дело не только в том, что секретов у нас друг от друга не было. Прямых обязанностей ни у кого не было. Каждый покупал к вечеру, когда мы сходились, то, что хотел. Конечно, как-то считался и с другими. В конце месяца складывали все расходы и делили поровну.

Комнатешка – плохонькая. У каждого кровать, тумбочка, и на всех – один стол. Между кроватями – только-только протиснуться. Окна – на Тверскую. Конечно, шума и гари от машин – меньше, чем сейчас, но все-таки спать не давали.

Феликс почти каждую неделю приносил из своей лаборатории поллитра спирта – значит, две бутылки водки. Полагалось распить. Феликс, выпив, каждый раз намеревался идти на пятый этаж - бить юриста, которого почему-то невзлюбил. Приходилось брать огонь на себя - пить побольше, чтобы Феликс все-таки не отправился на пятый этаж.

В нашей коммуне мы были как-то самодостаточны и не очень нуждались в общении с другими. Разве что с комнатой, где у каждого были прозвища: "прокурор", "циник"... У самого тяжеловесного – кличка "Морда". Он против нее возражал и повесил на двери табличку "Площадь морды, деленная на вес". Из чего явствовало, что на килограмм веса у кого-то приходилась бóльшая площадь лица, чем у него.

На столе в коридоре общежития - подшивка газеты "Правда". Вокруг нее шли обсуждения новостей. Весной 56-го, когда пошли слухи про доклад Хрущева о Сталине, не все этому не поверили:

- Вот, оболгали великого человека, гения человечества. Всякие Кагановичи и Микояны.

Когда выяснилось, что доклад Хрущева действительно был, тот же человек у газетной подшивки разгневался снова:

- Вот, создавали культ личности. Всякие Кагановичи и Микояны.

Но эта дверь закрылась

Мне казалось, что в Институте истории я прижился. Обстановка была вокруг рабочая, неизмеримо более спокойная, чем та, к которой я привык в Ленинграде в

сталинские годы. Интересные, ученые-профессионалы. Сравнительно доброжелательные, во всяком случае в секторе новой истории.

В здании, на разных этажах, в разных институтах – интересные обсуждения.

Немного утряслись и мои материальные проблемы. Начал как-то подрабатывать, тут же, в институте. Делал аннотированные указатели к сборникам документов по русской истории.

Диссертацию представил в срок. Обсуждение прошло удачно, Даже В.М. Лавровский и А.Л. Нарочницкий, не очень склонные к похвалам, сказали добрые слова.

В общем, все, казалось бы, складывалось благополучно... И я жил надеждой, что буду работать в этом научном коллективе, одном из лучших по тогдашним временам.

Но ... Осенью 56-го стало известно, что ставок для аспирантов нет. Может быть, будут, но не раньше, чем через два-три месяца. Мое положение сразу стало отчаянным. Других аспирантов как-то обнадеживали, меня – нет. Почему? Конечно, первое, что приходило в голову, - анкетные данные. Но, вероятно, были и другие причины.

За моих сокурсников хлопотали их маститые научные руководители. У моего руководителя влияние в институте было невелико. Кандидат наук, лишь недавно получивший звание старшего научного сотрудника, – это в секторе, где почти все были докторами. К тому же он еще совсем недавно ходил в опальных, несколько лет его не печатали. Активной общественно-политической работы не вел. В партком не входил. Стало быть постоять за меня не мог.

Да и сектор новой истории, по мнению дирекции, в пополнении не нуждался – был хорошо укомплектован.

Так или иначе, я оказался у разбитого корыта...

Не то чтоб я уж очень запаниковал. Бывало в жизни и похуже. И всегда старался убедить себя, что, если одну дверь перед тобой захлопнут, то другая почему-то обязательно откроется.

Но тут было особое дело - прописка. Милиционер уже с конца октября приходил каждые два-три дня – напомнить, чтобы 15 ноября и духу моего тут не было. Немного спасала наша обычная безалаберность (ведь, человек, считал Салтыков-Щедрин, сохранился на Руси лишь благодаря непоследовательности начальства): кто-то из моих друзей (или даже я сам) говорил ему, что сейчас меня дома нет. Он успокаивался и уходил

- до следующего раза.

Подбодрил меня звонок из Махачкалы. Габиб позвонил: - Есть место в Пединституте. Приезжай.

И вдруг – луч надежды. Кто-то сказал, что идет полная реорганизация Института востоковедения. Создается большой отдел Африки во главе с Потехиным. Африканистов в Москве – раз-два и обчелся. Я ему нужен. Зовет настойчиво.

По правилам того времени зачислить на работу человека, окончившего аспирантуру Академии наук могли только с ведома сектора молодых специалистов Президиума Академии.

Казалось бы, проблемы нет. Институт востоковедения за меня просил. Но посмотрев мои документы, заведующий сектором отказал. Сотрудник его сектора, Сиврен Шантанов, сказал мне потом: «Антисемитизм – единственная форма идеологии, доступная этим людям». Но тут дело было не только в моей фамилии. Этот завсектором когда-то работал в каких-то органах на Урале. Увидев в анкете место моего рождения (деревня Ермаково, Западная Сибирь), сразу понял, что я – сын ссыльного.

Бог ты мой, как я тогда метался! Из общежития выселяют. А значит и вообще из Москвы - прописка-то кончается. Работы нет. А общая атмосфера тех дней - хуже некуда. Начало ноября 1956-го. Советские танки - в Венгрии. Из-за Суэцкого кризиса в воздухе пахнет большой войной. Кому тут до моих проблем? Что делать?

Пошел к Кошкину, завкадрами Института востоковедения. Так совпало, что когда ему позвонили из Президиума с решением меня не брать, к нему в кабинет как раз зашел Потехин. Он слышал разговор, и все равно настаивал - ему нужны были сотрудники, хоть как-то знающие Африку. А всему институту было известно, что Гафуров предложил Потехину стать своим заместителем. Так что Кошкин оказался между двух огней.

И он нашел соломоново решение: - Я могу зачислить Вас на временную работу, на два месяца. Если такого сотрудника через два месяца не отчисляют, он автоматически становится постоянным. Если этот человек в Президиуме забудет и больше не позвонит, на шестьдесят первый день Вы станете постоянным.

Так оно и произошло.

Об Институте истории у меня остались добрые воспоминания. Научного профессионализма я там увидел больше, чем во многих других учреждениях Академии

наук. Люди занимались своим делом, их меньше отвлекали на политико-идеологическую конъюнктуру – а потому, наверно, и внутренних склок было меньше.

Институт большой, знал я в основном свой сектор новой истории: Альберта Захаровича Манфреда, Аркадия Самсоновича Ерусалимского, Бориса Федоровича Поршнева. И коллег-аспирантов: Сашу Чубарьяна, Бориса Ковалю, Валю Дякина, Бориса Лопухова, Виктора Малькова. О них говорено и написано немало.

Хочу рассказать только о Николае Александровиче Ерофееве. И отнюдь не только потому, что он был моим научным руководителем. Для меня он – лучшее, что я увидел в Институте истории. И вообще один из лучших людей, которых мне посчастливилось встретить.

Учитель, друг, англовед, яхт-капитан

Я тех люблю, что опоздали  
хотя бы раз, но навсегда  
к раздаче, к должности, к медали,  
к дележке с запахом стыда.

*Игорь Губерман*

Николай Александрович Ерофеев (1907-1996) знал Англию, во всяком случае Англию нового времени, лучше других наших историков. Но ни разу за свою долгую жизнь не получил командировки для работы в английских архивах и библиотеках. Хотя туда ездили многие, кто к изучению Туманного Альбиона отношения не имел.

Он так и не стал ни членом-корреспондентом, ни академиком. Конечно, такой же была судьба многих. Но, в отличие от других, он этого и не добивался.

- Что это – идти с шапкой по академикам?

Редкие его работы проходили издательское редактирование без жесткой цензуры. Сколько он трудился над книгой "Что такое история", а ему ее кастрировали так, что умей он плакать, плакал бы навзрыд.

Но это – далеко не худшее, что ему пришлось испытать. И тяжелое ранение в Отечественной войне оказалось не самым страшным из них.

Его не миновала полоса террора 1937-1938-го. Исключили из партии. Сажали и расстреливали его друзей. Он потом с горечью вспоминал печальную шутку тех лет: "Я отмежевываюсь от своих слов, и все, что скажу потом, считайте двурушничеством".

Не миновала и кампания "борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом".

Чего только ни было в жизни этого человека! У многих опускались руки. Другие - кончали с собой. А он жил, работал. Годами – в стол, без надежды опубликовать. Играл в теннис, ходил на байдарках, на яхте. Не переставал шутить.

Ко времени "оттепели", когда его снова стали печатать, у него накопились законченные рукописи, и несколько книг вышли одна за другой.

Сколько в нем было жизненных сил! И сколько мудрости!

Я близко знал его больше сорока лет. Он называл меня своим другом, и я горжусь этим.

\* \* \*

Впервые я увидел его в сентябре 1953-го, когда сдавал экзамены в аспирантуру Института истории. Из приказа о зачислении в аспирантуру узнал, что он будет моим руководителем. Он был кандидатом наук, ему только что присвоили звание старшего научного сотрудника, и я оказался его первым аспирантом. Работал он в секторе новой истории. На первом же заседании сектора я ему и представился. Это было как раз то заседание - с обсуждением статьи Манфреда. Он выступил последним и сказал, что историкам хорошо бы всегда помнить слова Анатоля Франса: "Ласкайте вашу фразу, и она будет улыбаться вам".

Я уже, конечно, был наслышан о нем. Он всегда подтянут, по-английски сдержан, ежедневно бывает в библиотеках, тщательно следит за поступлениями новой литературы. Следит за здоровьем, и во время бесконечных заседаний, не стесняясь, вытаскивает из портфеля приготовленный женою бутерброд. Его жена, Ольга Васильевна Беликова, заведует спецхраном в Фундаментальной библиотеке общественных наук.

Крупный специалист по истории Великобритании, но в последние годы ничего не публиковал. Он оказался одним из первых специалистов по всеобщей истории, попавших под паровой каток нового, послевоенного витка "идеологической борьбы". После писателей, киноискусства, музыки, дошла очередь и до историков. Сначала - отдельные книги и статьи, а в 1948-м уже в целом историческая наука. В "Литературной газете", которая была одной из главных дубинок в этих погромах, появилась статья об Институте истории. В ней досталось многим. Среди прочего - "пропагандирует антинаучные взгляды

буржуазных, в том числе и фашистских историков".<sup>xxiv</sup> Вскоре вышел еще один пасквиль, еще более грозный.<sup>xxv</sup>

Николай Александрович в 1948-м опубликовал статью "Соединенные Штаты Америки и Англия в период войны 1914-1917 гг.". Она была добротной, базировалась на кандидатской диссертации "Американский нейтралитет и союзная блокада в 1914-1917 гг.", которую он защитил в 1946-м. Появилась статья в сборнике "Труды по новой и новейшей истории". Институт истории собирался издавать сборники под этим названием регулярно, поэтому на переплете стояло: "Том 1". Но том попал под обстрел самого страшного тогда издания - газеты "Культура и жизнь". Она была создана специально для разгромов, и в просторечии ее называли: "братская могила", или "александровский централ" (редактором ее был академик Г.Ф. Александров).

21 сентября 1948 года там появилась статья "Объективистские экскурсы в историю" с подзаголовком: «О первом томе "Трудов по новой и новейшей истории"».<sup>xxvi</sup> Среди авторов Николай Александрович принял удар первым - разнос начинался с его статьи. В целом же сборник проникнут "духом аполитичности и буржуазного объективизма".

«В институте проведены заседания секторов и расширенное заседание ученого совета с активом, на которых обсуждались поставленные газетами "Культура и жизнь" и "Литературная газета" вопросы. Коллективы секторов и ученый совет института единодушно признали справедливость и своевременность критических указаний...», писал в "Литературной газете" директор Института истории академик Б.Д. Греков.<sup>xxvii</sup>

"Труды" больше не выходили. Первый том так и остался единственным. Ерофеева из института не изгнали, но его работ годами не публиковали.

\* \* \*

А еще до войны его исключили из партии. Он работал тогда в "Известиях" и, когда решил поступить в аспирантуру, рекомендацию ему подписали Бухарин, тогдашний редактор "Известий", и Карл Радек. О самой процедуре исключения Николай Александрович рассказывал так. В райком в тот день вызвали многих, как говорили тогда, партийцев. В кабинете секретаря у каждого отбирали партбилет и выпускали через другую дверь. Выйдя, каждый считал, что ночью за ним придут. Николай Александрович думал, на что же потратить эти последние оставшиеся часы. Семьи у него тогда не было, родители давно умерли, друзей-известинцев уже "взяли". Вспомнил, что на этот день у него

абонемент в плавательный бассейн. И... пошел плавать.

Ему повезло. За ним не пришли. Из "Известий", конечно, уволили. Работал школьным учителем, потом библиотекарем. В 1940-м восстановили в партии. Потом - фронт, контузия. После госпиталя и демобилизации стал аспирантом Института истории.

То ли по характеру, то ли благодаря приобретенному опыту он был очень организованным человеком. Умел не только работать, но и со вкусом отдыхать, а это, кажется, у нас еще более редкий дар.

Главное в жизненных передрыгах - сберечь здоровье, считал он. До войны увлекался долгими загородными прогулками и плаванием. С конца сороковых к этому прибавилась яхта, а с начала пятидесятых - и байдарка.

Вряд ли в Институте кто-то знал, что Николай Александрович - яхт-капитан. Я узнал случайно. Начал увлекаться яхтой в 1955-м, пошел в клуб "Водники" на Клязьминском водохранилище. Спина человека, который энергично циклевал днище большой красnodеревой яхты, показалась мне знакомой. Присмотрелся - он. Он и был командиром этой яхты. А сдать экзамены на яхт-капитана было совсем непросто.

... Николая Александровича не публиковали - несколько лет ни одной его статьи, кроме статей в Большой советской энциклопедии. Но работал он упорно. Добирал те знания, которые не удалось приобрести прежде. В молодости он долгие годы работал переплетчиком, рабочим типографии. Высшее образование получил заочно: за первые четыре курса истфака МГУ экзамены сдал экстерном, учился лишь на последнем курсе. Научную жизнь начал поздно, в аспирантуру поступил в 35 лет.

Занимался темой, которая не вызывала восторга у начальства. Готовил книгу об эмиграции из Великобритании во второй четверти прошлого столетия, когда миллионы англичан, шотландцев, ирландцев вынуждены были покинуть родные очаги и навсегда эмигрировать. Это переселение дало мощный стимул развитию ряда стран Британской империи. Прежде всего - Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки. Он считал тему важной, но ему нелегко было отстаивать ее перед руководством института. Она не вписывалась в проблему классовой борьбы. И хотя он всячески подчеркивал, что эмиграция - форма социального протеста, это звучало не очень убедительно. Социальный протест виделся обычно в других формах: в политической борьбе, революциях, восстаниях, стачках. Так что даже в конце пятидесятых на Бюро Отделения истории об этой теме говорили, как

о неактуальной.

Он относился ко всему этому без нервозности. Работал скрупулезно, и надеялся, что в конце концов тему признают. Тщеславием и честолюбием не страдал, с защитой докторской диссертации не торопился.

А с конца пятидесятых одна за другой выходят книги, которые он подготовил за годы молчания. "Очерки по истории Англии, 1815-1917", "Чартистское движение в Англии", "Народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825-1850 гг.", "Промышленная революция в Англии", "Империя создавалась так...", "Закат Британской империи". Опубликовал множество статей, потом объединил их в книгу "Английский колониализм в середине XIX в."

Лучшей из этих книг, несомненно, была "Народная эмиграция". Он защитил ее как докторскую диссертацию в 1963-м, когда ему было 56 лет. Его первый оппонент, дипломат и академик Иван Михайлович Майский, свой отзыв на защите начал со слов: - Я поразился, узнав, что Николай Александрович еще не доктор.

Промышленный переворот идет сейчас во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Не стоит ли обратиться и к книге Ерофеева "Промышленная революция в Англии"?

С распадом Советского Союза и идеей создания СНГ новое звучание приобрели работы Николай Александрович по истории Британской империи, ее возвышения, крушения и особенно создания британского Содружества: какую роль сыграли при этом возникшие во времена Британской империи экономические, культурные и языковые связи, как удалось смягчить процессы отторжения различных частей империи от метрополии?

Николай Александрович задумывался об этом еще в шестидесятых. Он не решился поставить эту проблему в полном объеме - очень уж сильна была тогда в СССР эйфория, даже злорадство в связи с распадом зарубежных империй.

\* \* \*

Две последних его книги стоят особняком. Они - не об истории Англии. Первая - "Что такое история" - вышла в 1976-м. В ее основу положен курс лекций, которые он несколько лет читал на истфаке МГУ - не только студентам, но и аспирантам и преподавателям. Я уже писал, что в издательстве из нее вырезали самое интересное, самое новое. Как считал Николай Александрович, книгу выхолостили, свели к перечню прописных истин тех лет.

Он воспринял это как личную трагедию. Мне он подарил экземпляр рукописи.

Зато вторая - "Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825-1853" (1982) - стала, наверно, одной из лучших книг, выпущенных отечественными историками в те годы. Его лебединая песнь. Он издал ее, когда ему было уже 75 лет.

Англию того времени он знал досконально. Теперь предстояло понять отношение русского общества к Англии. Это была для англоведа новая сфера: отечественная история.

Он провел титаническую работу. Изучил как отношение официальных кругов России к Англии, так и взгляды различных общественных групп и оценки печати. Просмотрел 34 русских журнала того времени, вплоть до "Дамского журнала" и газеты "мод и новостей", которая называлась "Молва". Большинство из них - за многие годы. При работе над периодикой использовал метод контент-анализа. А уж изученным им запискам, дневникам и мемуарам того времени - несть числа.

Он стремился понять взгляды официальных лиц и оппозиционеров, представителей разных социальных слоев и общественных течений, путешественников. И тех, кто никогда не видел Англию своими глазами, но все же имел свое твердое мнение и с жаром его отстаивал.

Рассматривая все эти противоречивые суждения, он вывел главную тенденцию: показал, как в течение этой четверти века в России усиливалось негативное отношение к Великобритании. Как понятие "Туманный Альбион" постепенно вытеснялось "дряхлым Альбионом" и превратилось в "коварный Альбион". Причины он видел в росте англо-русских политических противоречий, том непонимании Англии, ее традиций, ее общественно-политических институтов, которое бытовало и в официальных кругах России и во взглядах общественности. В 1844 г. Николай I решил взяться за устранение англо-русских разногласий и сам поехал в Англию с официальным визитом. Он вел переговоры с супругом королевы Виктории принцем Альбертом и с виднейшими политическими деятелями Англии: Пилем, Эбердином, Пальмерстоном.

«Впрочем, - писал Николай Александрович, - переговорами назвать их можно лишь условно: в сущности говорил один Николай I. Он вообще не умел слушать собеседника: атмосфера полного единовластия и придворного подбострастия приучила его только приказывать. Мнение собеседника его интересовало меньше всего. Поэтому его разговоры с английскими политиками обычно выливались в пространные монологи. Его задачей было

как можно полнее изложить свои взгляды. В том, что собеседники их примут, он, видимо, не сомневался». В конце октября 1853 г., уже буквально накануне Крымской войны, царь отправил письмо королеве Виктории с просьбой рассудить его спор с английскими министрами. «В этом акте проявилось полное непонимание английской политической системы».

Накануне Крымской войны в России высказывались мнения, что война окажется для Англии "гибельной". Этому заблуждению способствовала позиция официальных кругов России. Николай Александрович писал: «Николай I разделял мысль о безусловном превосходстве России над Западом». И привел слова Николая: «Посмотришь, порассудишь и убедишься, что если там что и лучше, то оно у нас выкупается другим словом, что такое несовершенство во многом лучше их совершенства». Естественно, что императору вторили высшие сановники. Бенкендорф, начальник Третьего отделения и шеф жандармов, правая рука царя, утверждал: «прошлое России удивительно, настоящее великолепно, а будущее замечательно».

Разумеется, образ Англии и англичан был в России неоднозначным. И все же очень многое в английской жизни понималось превратно. «Ошибочными и искаженными были представления о самых элементарных вещах. Так, богатство Англии видели не в том, в чем оно действительно заключалось, т. е. не в фабриках и заводах, не в могучих производительных силах, а в обилии золота и звонкой монеты, которых в Англии было как раз мало. Бурное развитие английского капитализма воспринимали как назревание кризиса, предвещавшего близкую катастрофу. Неверны были и некоторые оценки английской политической системы. За властью аристократии не замечали новую реальную силу - буржуазию, которая на деле диктовала свою волю аристократии. Отдельные черты политического строя вызвали недоумение, например, как верховная твердая власть мирится с волнениями масс и постоянными "смутами", почему не решается применить силу?».

В книге приведены высказывания тех десятилетий. В.Ф. Одоевский считал, что Англия - урок народам, «продающим свою душу за деньги». М.П. Погодин назвал Английский банк золотым сердцем Англии, «а другое едва ли и есть у нее». По мнению С.П. Шевырева, Англия за все это «когда-нибудь даст ответ правосудию небесному».

В Англии и англичанах многие видели средоточие всего худшего, что приписывалось

Западу. «Англичане, французы и немцы, - утверждал славянофил А.С. Хомяков, - не имеют ничего хорошего за собой». В. Сологуб в повести "Лев" обвинял англичан в «горделивом эгоизме», а в "Тарантасе" призывал «остерегаться надменности германской, английского эгоизма, французского разврата и итальянской лени».

Готовя свою книгу, Николай Александрович не мог читать мемуары писателя Василия Янковского о жизни русской эмиграции на Западе после большевистского переворота: эти мемуары были изданы эмигрантским издательством "Серебряный век" уже после выхода книги Ерофеева. Но мысли Янковского поразительно перекликаются с его выводами.

«Прискорбно, что даже Герцен, проживший всю зрелую жизнь на Западе, все же ругал европейцев за мещанскую скупость, узкую методичность, за умеренность и расчетливость. В самом Герцене было много ямщичьего удалства, как, впрочем, и в жандармах, увозивших его на тройке в Пермь или Вятку...

Несомненно, что лучшие русские западники во главе с Герценом единодушно отталкивались от мнимой европейской скупости. И это доказывает, что они не поняли многого на чужой стороне, проживая там знатными иностранцами. "Широта и размах" в аграрной, нищей, крепостной России вселяли радость в сердца изгнанников, даже противники славянофилов начинали уверять, что православный восток еще скажет этим "лавочникам" последнее спасительное, христианское слово, которое прозвучит убедительно, несмотря или вопреки свисту вдохновенных отечественных кнутов и шпицрутен».

Янковский подчеркнул живучесть таких настроений. «Когда в Англии я впервые услышал от джентльмена, покупавшего в лавке трубку "Нет, это слишком дорого для меня. I can't afford it" - я вздрогнул и покраснел от стыда: подумайте, при даме сознался в своей неполноценности! Нам с детства внушили, что порядочный кавалер может себе позволить все! Деньги не помеха, если нужно - украдет, убьет». <sup>xxviii</sup>

Главной темой творческой жизни Ерофеева было стремление понять Великобританию XIX века, пробиться через все британские туманы к Альбиону королевы Виктории и Пальмерстона. Но этот последний труд привел его к выводам, далеко выходящим за рамки британской истории. Прежде всего, о России. В "Туманном Альбионе" он пробивался уже не через лондонский, а через петербургский туман. Эта книга - о духовной жизни России. Тщательный и неприкрашенный анализ взглядов русских на чужую страну помогает лучше

понять и нашу страну.

Наверно, какими бы странами и народами ни занимался историк, его работы всегда будут, прямо или косвенно, выходить на историю его родины. Н.А. к концу жизни все больше занимался историей России - даже не косвенно, а напрямую. Выйдя на пенсию, он работал над книгой "Диккенс в России". Это была бы тоже книга о России. Увы, ей не суждено было состояться.

Но значение "Туманного Альбиона" – еще шире. Николай Александрович это прекрасно понимал: «Ведь русский образ англичанина - это частный случай этнических представлений, и, следовательно, изучая процесс его возникновения, мы приближаемся к пониманию того, как вообще формируются этнические представления».

Николай Александрович в этой книге сделал очень много для разработки методики конкретно-исторического подхода к изучению этнических представлений, образа другого народа.

Как идет становление таких образов? Из чего они складываются? Что на это влияет?

Ответам на эти вопросы он посвятил немало статей. Одна из лучших была опубликована в коллективной монографии "Источниковедение африканской истории": "Африка в королевстве кривых зеркал (свидетельства английских путешественников)".

В "Туманном Альбионе" он обобщил результаты этих исследований. Первая глава - вообще не об Англии и не о России. Называется - "Этнические представления". Он дал тут подходы к изучению этнических представлений.

Многие идеи этой книги он развивал потом в лекциях, докладах, в выступлениях, в дискуссиях. Особенно мне запомнились его доклады в Секторе Африки Института всеобщей истории и в Отделе общих теоретических проблем Института востоковедения. Нередко, – говорил он, чужой расизм и чужой национализм критикуют в угоду своему расизму и национализму. Каждому народу полезней бороться против своих предрассудков, а не сосредоточиваться на чужих. О проблемах расовой и национальной дискриминации зачастую рассуждают ученые, которые никогда не испытывали ее на себе, оттого и судят с легкостью. А правительствам и властям, кандидатам в парламенты, увы, бывает легче добиться популярности, используя распространенные предрассудки. Борясь же против них, можно, как раз наоборот, набить много шишек.

Николай Александрович рассматривал не только государственную политику, но,

главным образом, представления, бытующие в обществе. А значит говорил об ошибках и предрассудках своего собственного народа, его известных общественных деятелей, видных писателей, публицистов, журналистов.

Иностранцев критикуй сколько хочешь, разоблачай их представления о нашей стране. Можешь даже обвинить в преднамеренной фальсификации, извращении истории. Но критиковать "своих" нельзя - тут же обвинят, что ты - не патриот. Но чужого шовинизма не понять, пока не будем изучать его у себя, на нашей почве.

Говорил он в основном об антисемитизме. Но теперь, с усилением ксенофобии, мы видим, что она - не только в антисемитизме.

Выступая перед востоковедами и африканистами, Николай Александрович особенно подчеркивал, что и колониализм - сложное и многогранное явление, которое тоже невозможно понять, пока мы говорим только о колониализме британском, французском и португальском, но избегаем даже упоминаний о своем, российском.

Приводил слова из воспоминаний Сергея Юльевича Витте - он считал его крупнейшим государственным деятелем предреволюционной России: «...Пробежав карты развития России со времени Рюрика, каждый гимназист убедится, что великая Российская Империя, в течение тысячелетнего своего существования, образовалась тем, что славянские племена, жившие в России, постепенно поглощали силою оружия и всякими другими путями целую массу других народностей, и таким образом явилась Российская Империя, которая представляет собой конгломерат различных народностей, а потому, в сущности говоря, России нет, а есть Российская Империя; ну, а после того, как мы поглотили целую массу чуждых нам племен и захватили их земли — теперь в Думе и "Новом времени" явилась полу-комическая национальная партия, которая объявляет, что, мол, Россия должна быть для русских, т. е. для тех, которые исповедуют православную религию, фамилия которых кончается на "ов" и которые читают "Русское знамя" и "Голос Москвы"».

\* \* \*

В 1980 г. за рубежом вышла статья Солженицына “Чем грозит Америке плохое понимание России”. Услышав о ней, Николай Александрович возмущался: - Почему же он не написал, чем грозит России плохое понимание Америки?

Автобиографическая книга Солженицына вызвала у него, мягко говоря, его недоумение. Больше всего слова: «Под моими подошвами всю мою жизнь — земля

отечества, только ее боль я слышу, только о ней пишу». И еще: «Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет – узнавать ее». Что ж, получается, что и народ, давший тебе приют в самое тяжелое время, можно не знать, и не слышать его боль, хотя он и услышал твою. Его резанули и иронические слова в автобиографии Солженицына: «страдатели Африки».

Конечно, рассуждал Ерофеев, Солженицын, все это, возможно, произносил всердцах, когда подвергался гонениям. Но гонения же шли не от заграницы, а от своих, тутошних. Попав потом, тоже из-за тутошних, в эту самую заграницу, и пользуясь ее гостеприимством, почему же и тогда он говорил о ней без сочувствия и симпатии? Для себя Ерофеев сделал вывод: Уж если даже Солженицын, один из властителей дум, рассуждает вот так, то чего же ждать от цензоров?

В конце шестидесятых и в семидесятых не было, наверно, такого дома в Москве, где не обсуждали бы Сахарова и Солженицына. Николай Александрович преклонялся перед Андреем Дмитриевичем.

Глубокие расхождения между этими двумя людьми, самыми уважаемыми советской интеллигенцией, горько его разочаровали. Он был полностью на стороне Сахарова и полностью разделял его оценки:

«Недоверие к Западу, к прогрессу вообще, к науке, к демократии толкает, по моему мнению, Солженицына на путь русского изоляционизма, романтизации патриархального уклада, даже, кажется, ручного труда, к идеализации православия и т. п. ...

Я увидел в произведениях Солженицына другой взгляд, чем у меня, на демократию и плюрализм, на роль религии в обществе (я считаю религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же как и атеизм)».

После смерти Сталина и XX съезда из ссылки вернулись многие, кого Николай Александрович знал в тридцатых, во время работы в "Известиях". Они не только рассказывали о лагерной жизни, но и приносили отпечатанные на машинке воспоминания, рассказы, повести. И свои, и те, что тогда ходили по рукам. Когда в "Новом мире" опубликовали "Один день Ивана Денисовича", Николай Александрович радовался, но считал, что это – не лучшее, что можно было издать. Просто Солженицыну повезло – Твардовский выбрал его повесть и добился ее публикации. Довольно скоро лагерную тему "закрыли", и другие достойные авторы так и остались безвестными. И Николай

Александрович считал неблагодарностью и высокомерием отношение Солженицына к Твардовскому (в книге "Бодался теленок с дубом").

Об исторических произведениях его – "Август 1914" и других: - Не брался бы за историю. Не знает ее.

Николая Александровича возмущало, что в многотомной «Краткой литературной энциклопедии» нет статьи «Солженицын». Но возмущало и то, что Солженицын изменил свое отчество: вместо "Исаакиевич" решил именоваться "Исаевич". Выходит - от родного отца отрекся.

И, уже ко мне: - Вы же вот не сделали этого, не взяли фамилию матери. Могли бы изменить свою жизнь, сделать карьеру. А он, значит, испугался, что его сочтут евреем!

Но больше всего Николая Александровича удивило, что Солженицын не сумел, или не захотел, оценить Варлама Шаламова.

\* \* \*

Моим официальным руководителем он был три года. Старшим другом - еще сорок лет. Коротко о такой дружбе не расскажешь.

Мне кажется, что за все это время характер Николая Александровича не изменился. Он был не суетлив - и как человек, и как ученый. Не принимал скороспелых решений. В науке его интересовали фундаментальные темы, он всячески избегал конъюнктурных - тех, на которых как раз и строились карьеры.

Его глубоко возмущал непрофессионализм тех, с кем он работал, и в Институте истории и в МГИМО. Поэтому он, на время отойдя от англоведения, и решил писать книгу "Что такое история".

Ничего общего у Николая Александровича не было с выпускниками Академии общественных наук при ЦК КПСС. Зачастую это были партработники, которым давали возможность легко "остепениться", стать кандидатами наук. Таких и в Институте истории, и в МГИМО было много. Они любили говорить непререкаемым тоном, от лица партии, как проводники ее идеологической линии. Делали карьеру, спекулируя партбилетом и "идейностью". Николай Александрович относился к ним с безгливостью, равно как и к тем, кто кичился принадлежностью к титульной нации.

С недоумением, а то и раздражением говорил об авторах, которые писали нарочито-усложненно, заумно, считая, вероятно, что это и есть подлинный академизм.

В своих книгах стремился к ясности. С возрастом это стремление усиливалось. Любил повторять слова Пастернака:

Нельзя не впасть к концу, как в ересь,  
В неслыханную простоту.

Очень берег свое время. Когда я жаловался, что ничего не успеваю, он говорил: - А вы запишите по часам и минутам, на что потратили время сегодня или вчера, и сразу поймете, что резервы у вас есть.

Требовал от других, чтобы они с уважением относились к его времени. Когда я, в бытность его аспирантом, давал ему разделы своей диссертации, он всегда спрашивал: - А вы сами уже сделали все, что могли?

Эту требовательность он облекал в шутку: - Никогда не давай дураку половину работы.

Но когда было действительно нужно, помогал, не считаясь со временем. Как-то я пожаловался: - Никак не могу перевести несколько маленьких стихотворений для моей книги. Он улыбнулся: - Дайте мне, я ведь когда-то баловался стихами. Назавтра он принес мне переводы. Включив их в книгу, я попросил разрешения поставить его имя. Он засмеялся: - Нехватало мне только ампула поэта-переводчика. Так они и пошли безымянными.

Избегал административных постов. В конце шестидесятых в Институте всеобщей истории был создан сектор Великобритании. Николай Александрович согласился заведовать им. Но это его тяготило, и в 1974-м он подал в дирекцию просьбу освободить его от заведования.

Старался не участвовать в официальных идеологических и пропагандистских кампаниях, а уклониться от этого было нелегко. В 1966-м, когда казалось, что руководство СССР склоняется к реабилитации Сталина, он вместе с некоторыми другими историками послал письмо протеста в ЦК КПСС. В 1967-м, - подписал письмо протеста против травли Александра Моисеевича Некрича. Письмо было направлено в редакцию журнала "Вопросы истории КПСС" (где появилась разгромная рецензия на книгу Некрича "1941. 22 июня"), а также в Президиум Академии наук СССР, в издательство "Наука", в Институт истории и в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

В бытность его заведующим сектором Великобритании, его дважды вызывали

"наверх" и, то обиняками, а то и прямо требовали представить материал на увольнение Некрича, который был сотрудником его сектора. Николай Александрович категорически отказался. Больше того, сказал, что вообще не понимает, почему нужно увольнять квалифицированного специалиста.

Начальство, наверно, видело, что он придушивается, будто не понимает, в чем дело. Н.А. всегда избегал близости с начальством. И тут, в этих встречах чисто формальный характер отношений с директором института дал ему возможность занять позицию глухого непонимания.

С концом оттепели Николая Александровича возмущало даже не стремление властей вновь "закрутить гайки", а поведение известных представителей интеллигенции. Не мог спокойно говорить о речах Шолохова на съездах КПСС. С трибуны XXIII съезда Шолохов потребовал, чтобы приговор Синявскому и Даниэлю, и без того суровый, был еще строже. Он заявил: «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а "руководствуясь революционным правосознанием" (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни!».

И эти слова ему были отвратительны, и еще больше то, что зал им аплодировал.

Процесс Синявского и Даниэля шел почти одновременно с нападками на Некрича. Для Николай Александрович это были части единой кампании, продолжением традиций 1937-го.

С моими зарубежными поездками, как и с трудоустройством, Николай Александрович помочь не мог ничем. Но сокрушался, что я "невыездной". А ведь многие мои друзья даже не задумывались, почему меня никуда не пускают. Парадоксально, как подход властей и тут влиял на психику людей. В сталинские времена многим не приходило в голову задуматься: почему миллионы людей гоняют по тюрьмам, ГУЛАГам, ставят к стенке. Потом, в оттепельные и брежневские годы, те, кто был допущен до карьеры и выездов за рубеж, не хотели задуматься: почему другие этого лишены. Принимали как должное, даже сочувствия не выражали.

Сколько людей на его месте озлобились бы. На его долю выпало немало и других невзгод. У Николая Александровича не было квартиры, и они с женой скитались, снимая комнаты. Долгие годы жили мечтой о собственной крыше над головой. Сумели купить

кооперативную квартиру лишь в 1958-м, когда Николаю Александровичу был уже пятьдесят один год. Всю жизнь занимаясь историей Великобритании, был там только двенадцать дней в туристской группе в 1965 году и еще 7 дней в 1969-м на научной конференции.

Казалось, были все основания брюзжать и завидовать. Но главной чертой его характера было жизнелюбие. Редко встретишь человека, который бы так умел радоваться жизни. Он считал это куда более важным, чем успехи в карьере. О его квартире можно бы сказать словами Гумилева:

Мудрые, старые книги  
Знающих тихие речи...

В его доме встречались люди самых разных профессий: географ и писатель Яков Михайлович Свет, автор учебника по сопромату Яков Борисович Фридман, историк Владимир Михайлович Турок. Стали его друзьями и близкие мне люди - математик Нинель Тихоновна Пашенко, филолог Людмила Алексеевна Карташова, химик Феликс Закирович Сабилов, металлург Борис Иванович Береснев. Бывал у него и Евгений Александрович Гнедин, видный работник довоенного Наркоминдела.

В пятидесятых и шестидесятых Николай Александрович увлекся яхтой, а затем байдарочными походами. Яхты принадлежали клубу "Водники". Каждую весну нужно было закрепленную за тобой яхту приводить в порядок, циклевать. А потом не только плавать для своего удовольствия, но обязательно участвовать в соревнованиях – гонках.

В 1956-м клуб распродал немецкие трофейные краснодеревые яхты. Прекрасные яхты, каютники. Продавали их потому, что этот класс яхт (назывался он – "Т") был по новым международным правилам снят с участия в соревнованиях. Продавали недорого. Николай Александрович вполне мог позволить себе купить, и предлагал мне ходить на ней вместе. Мы долго это обсуждали. Но на Клязьминском для такой большой яхты мало простора. А тащить ее на Рыбинское водохранилище – значит пользоваться ею только в отпуск. Субботы-воскресенья – мало. Так что, подумав, от идеи покупки отказались.

Зато байдарка, разборная, в двух заплечных мешках, давала возможность и в дальние походы ходить и в короткие, однодневные воскресные прогулки. Вокруг Николая Александровича собралась компания моих друзей, моложе его на двадцать с лишним лет. Его объявляли, по Ильфу и Петрову, «командором пробега». От него пошло у нас словечко

"коекакеры" - те, кто не успевал быстро собрать лодку или вообще толком подготовиться. Ходили на трех-четырех лодках. Не только по Подмоскovie, но и дальше. Николай Александрович отдавал шуточные приказы. Вот один – перед походом по украинской реке Псел (мы называли себя тогда "пселоходами"):

«Приказ № 1 от 3 августа 1958 г. 1. Научную экспедицию на р. Псел в связи с проведением международного геофизического года считать начавшейся. Ее задачей является изучение водно-воздушного режима в районе р. Псел и состояния прилегающих садов, огородов и бахчей. 2. Командовать парадом буду я. 3. Утвердить личный состав экспедиции: Ерофеев Н.А. - начальник, Давидсон А.Б. - замполит; Маслова Т.Н. - зам. по научной части, Сабирова Р.Д. - культуртрегер, Береснев Б.И. - адм. хоз., Пашенко Н.Т. - штурман-навигатор. Сабиров Ф.З. - главный механик и старший бомбардир, Береснева Н.И. - медсанчасть.

Указанных лиц приказываю зачислить на довольствие и приобщить к котлу. 4. Всему составу экспедиции приказываю 3 августа погрузиться на поезд и направиться в г. Сумы через Конотоп на предмет получения дальнейших руководящих указаний.

Начальник экспедиции».

Он следил не только за своим здоровьем, но и за здоровьем друзей. Если кто-то из них выходил из формы, набирал лишний вес, мало бывал на воздухе, часто простужался, Н.А. укорял: - Вы себя запустили.

Неотъемлемой частью походов, да и встреч с друзьями дома были шутки, розыгрыши, эпиграммы. Помню стихи историка Льва Никитовича Пушкарева на 60-летие Николая Александровича:

Это дата такая,  
Что с вершиною схожа:  
Уже многое знаешь -  
Еще многое можешь.

Как-то я прочитал ему стародавнее четверостишие, которое тоже услышал от Пушкарева:

Не живи уныло,  
Не жалей, что было,  
Не гадай, что будет,  
Береги, что есть.

- Таким и должен быть жизненный девиз, - сказал он. - Ну, не смолоду, конечно. Но

главное, и это в любом возрасте - не живи уныло. И, улыбнувшись, добавил: - Если ты еще можешь, как старый кот, жмуриться на солнышке, это уже радость.

Николай Александрович любил слова Черчилля о разнице между пессимистом и оптимистом: пессимист в каждой возможности ищет прежде всего новые проблемы, а оптимист в каждой проблеме находит новые возможности.

Увы, в конце жизни он совсем ослеп и солнышка уже не видел. Но несколько лет, уже ослепшим, ухаживал за тяжело больной, умирающей женой.

\* \* \*

В изданном в 2005 г. двухтомном биобиблиографическом словаре «Историки России XX века» статьи о Николае Александровиче почему-то нет.

Его не стало на девяностом году жизни, 30 апреля 1996 г. Девяносто ему исполнилось бы в 1997-м, 18 апреля.

Погас еще один очаг.  
Еще одни пустые окна.  
Ненужный больше телефон,  
И снова чья-то речь умолкла.  
И снова  
мрак со всех сторон...

Как много он мог бы рассказать! Он знал почти всех интересных московских историков. А до того, в тридцатых, - редакцию "Известий", лучшей тогда газеты.

Сколько я уговаривал его написать воспоминания! Он отвечал, что об этом не может быть и речи. Увы, это характерно для его поколения: вкус к мемуаристике был в сталинские времена отбит. Боялись даже записи для памяти делать.

\* \* \*

Мне очень хотелось продолжить британские штудии Николая Александровича. Судьба оставила мне только Африку, но то, что я получил от Николая Александровича, тянуло к себе всегда!

Николай Александрович пробовал на мне свои идеи – и в байдарочных походах и дома, и во время прогулок. Особенно, когда мы с ним снимали комнаты на одной и той же даче, в Мозжинке, подмосковном поселке академиков. Там мы жили рядом с 1967-го до конца восьмидесятых. Он бывал там больше, умел лучше организовать свою жизнь, больше ценил природу. А я суетился – за что он меня постоянно осуждал.

Англией я не переставал никогда заниматься. Книга о Родсе – это ведь не только

Африка, но и Англия.

Но по настоящему вернуться в англоведение – удалось лишь через много лет, когда Николая Александровича уже не было в живых.

Вернуть меня в англоведение давно хотел Владимир Григорьевич Трухановский. Конечно, он не был мне так близок, как Николай Александрович. Но человек безусловно интересный, поразительно парадоксального мышления.

И возможностей у него было неизмеримо больше, чем у Николая Александровича. Почти тридцать лет – главный редактор "Вопросов истории". До этого – заместитель директора Института истории. Еще раньше – дипломат. Работал на Потсдамской конференции 1945 года (одно из поразивших его впечатлений в Потсдаме: он подошел к Сталину сзади и увидел лысину. На портретах ее не было, и Трухановский остановился, как вкопанный).

Издав книгу о Родсе, я, идя в гости к Трухановскому, хотел спросить у него, не посоветует ли он мне новую тему. Но не успел. Едва открыв дверь, он сам спросил меня:

- Я кончил своего Нельсона. Как Вы думаете, за кого теперь взяться?

Я ответил: - Лучше всего – Дизраэли.

- Вот и я о нем думаю.

Когда вышел его книга "Бенджамин Дизраэли", я написал рецензию. Работая над ней вспомнил: - А как же это я ни на одну книгу Николая Александровича не откликнулся? Должно быть, все выплескивал в разговорах с ним.

Сектора Великобритании давно уже не было, и Трухановский в начале девяностых создал Ассоциацию британских исследований и стал ее президентом. Уже через несколько лет ему захотелось снять с себя это бремя и переложить его на меня. Пока он был жив, я отшучивался и отнекивался, но в 2000-м, когда его не стало, деваться было некуда.

Работа эта меня увлекла. Нам удалось возобновить конференции англоведов, проводившиеся и в Москве и в Лондоне (одну из них, в апреле 2007 г. - приурочили к 100-летию Николая Александровича), издание сборников статей российских и британских ученых (один из них посвятили Владимиру Григорьевичу).

У нас есть теперь возможность работать в английских архивах. Как жаль, что Николай Александрович был всего этого лишен!

- 
- i Berlin Isaiah. Personal impressions. - London: The Hogarth Press, 1980. - P. 165.
- ii Чудакова М. Разговорчики в струю // Новая газеты. - М., 2007. - 24.09-26.09.
- iii Тогда все, даже школьники, знали высказывания Сталина: их было не так много, он был скуп на обращения к народу. Но теперь, наверно, нужно давать точную ссылку: Сталин И. Речь на параде Красной армии 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве // Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. - М., 1947. - С. 39.
- iv Ахматова А. Стихотворения и поэмы. - Л., 1977. - С. 597.
- v Григорьев Г.Л. Кого боялся Иван Грозный. К вопросу о происхождении опричнины. - М.: Интерграф Сервис, 1998. - С. 39.
- vi Предисловие В.С. Гарбузовой в книге: Болдырев А.Н. Осадная запись (Блокадный дневник). - СПб., 1998. - С. 21.
- vii Солсбери Г. 900 дней. Блокада Ленинграда. - М., 1996. - С. 587-588.
- viii Афанасьев Ю. Понять прошлое, чтобы домыслить настоящее // Новая газета. - 10-12.X.2007.
- ix Lockhart R.N.B. British Agent. - New York, 1933. - P. 157.
- x Горький М. Владимир Ленин // Русский современник. - Ленинград, 1924. - № 1. - С. 235, 241, 243.
- xi Григорьев Г.Л. // Московский телефонист. - 3 сентября 1980. Григорьев Г.Л. // Московский телефонист. - 3 сентября 1980.
- xii Памяти товарища // Суздальская новь, 17 июня 1980.
- xiii Григорьев Г.Л. Некоторые вопросы политической борьбы в Московской Руси XVI в. - Ленинград, 1966. - С. 108-110. Рукопись. Подарена автору данной статьи с надписью: «Дорогому Аполлону Борисовичу Давидсону от автора. 4.X.66. Григорьев».
- xiv Григорьев Г.Л. Кого боялся Иван Грозный? К вопросу о происхождении опричнины. - М.: «Интерграф Сервис», 1998. В рукопись внесена не очень значительная правка.
- xv Никитин А.Л. Точка зрения. - М., 1985. - С. 336-341.
- xvi Никитин А.Л. Кромешники // Наука и религия. - М., 1988. - № 7. - С. 40-41.
- xvii Никитин А.Л. О пользе альтернативных взглядов в исторической науке. Предисловие к книге Григорьева Г.Л. «Кого боялся Иван Грозный? ...». - С. 4.
- xviii Там же. - С. 5.
- xix Kench J. Traitor on the Ice. - Cape Town: Mallard Publishers, 1996. - P. 1.
- xx Новая история. Учебник для 9 класса средней школы / Под ред. В.М. Хвостова. - М.: Учпедгиз, 1949. - С. 143.
- xxi Глинка В.М. Воспоминания. Архивы. Письма. Книга первая. - СПб., 2003. - С. 98-104.
- xxii Рабинович М.Б. История долгой жизни. - СПб., 1996.
- xxiii Письмо Н.П. Полетики А. Давидсону. 3 ноября 1958 г. // Из архива А.Б. Давидсона.
- xxiv Кротов А. Примиренчество и самоуспокоенность // Литературная газета. - М., 1948. - 8 сент.
- xxv Эрдэ Д. Академия наук не занимается историей СССР // Там же. - 1948. - 2 окт.
- xxvi Павлов С. Объективистские экскурсии в историю: О первом томе "Трудов по новой и новейшей истории" // Культура и жизнь. - М., 1948. - 21 сент.
- xxvii Литературная газета. - М., 1948. - 3 нояб.
- xxviii Яновский В.С. Поля Елисейские. Книга памяти. - Нью-Йорк: Серебряный век, 1983. - С. 175.